



ВИРТУАЛЬНАЯ АЛЬТЕРНАТИВЫ И ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ ИСТОРИЯ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ

НИАЛА ФЕРГЮСОНА

CoRpus

ЧТО,
ЕСЛИ
БЫ

КАРЛ I ИЗБЕЖАЛ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ?
НЕ СЛУЧИЛОСЬ АМЕРИКАНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ?
В 1912 ГОДУ БЫЛ ВВЕДЕН ГОМРУЛЬ?
БРИТАНИЯ "ОСТАЛАСЬ В СТОРОНЕ" В АВГУСТЕ 1914 ГОДА?
ГЕРМАНИЯ ВТОРГЛАСЬ В БРИТАНИЮ В МАЕ 1940 ГОДА?
НАЦИСТСКАЯ ГЕРМАНИЯ ПОБЕДИЛА СОВЕТСКИЙ СОЮЗ?
УДАЛОСЬ ИЗБЕЖАТЬ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ?
ДЖОН Ф. КЕННЕДИ ОСТАЛСЯ ЖИВ?
КОММУНИЗМ НЕ ПОТЕРПЕЛ КРАХ?

Ниал Фергюсон

**Виртуальная история:
альтернативы и предположения**

«Corpus (АСТ)»

1997

УДК 94(100)

ББК 63.3(0)

Фергюсон Н.

Виртуальная история: альтернативы и предположения /
Н. Фергюсон — «Corpus (АСТ)», 1997

ISBN 978-5-17-109115-6

“Виртуальная история” под редакцией известного британского историка Ниала Фергюсона (р. 1964) – сборник статей на актуальные темы новой и новейшей истории стран Европы и Америки. Авторы книги, профессиональные историки, опираясь на широкий круг документальных и нарративных источников, задаются интереснейшими вопросами, сутью которых является один: А что если бы история была иной?

УДК 94(100)

ББК 63.3(0)

ISBN 978-5-17-109115-6

© Фергюсон Н., 1997

© Corpus (АСТ), 1997

Содержание

Благодарности	6
Введение	7
Конец ознакомительного фрагмента.	43

**Виртуальная история:
альтернативы и предположения**
Под редакцией Ниала Фергюсона

© Niall Ferguson, 1997. All rights reserved

© З. Мамедьяров, иллюстрации, 2019

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2019

© ООО “Издательство АСТ”, 2019

* * *

Благодарности

В сборнике работ соавторы обычно выражают благодарности в примечаниях к собственным текстам. Редактор, однако, имеет право перечислить благодарности крупным шрифтом. Я хочу сказать спасибо: Факультету истории нового времени Оксфордского университета; исполняющему обязанности директора и научным сотрудникам Колледжа Иисуса Оксфордского университета; моему агенту Джорджине Кейпел из фирмы *Simpson, Fox Associates*; моим редакторам Питеру Страусу и Тане Стоббс из издательства *Macmillan*; Глену О'Харе из оксфордского Колледжа Иисуса за его неоценимую помощь при работе над вступлением и моей главой; а также Вивьен Боуэр из оксфордского Колледжа Иисуса. Отдельное спасибо за замечания к моим фрагментам книги доктору Кристоферу Эндрю из Колледжа Корпус-Кристи Кембриджского университета, профессору Джонатану Кларку из Канзасского университета, профессору Рою Фостеру из Оксфордского университета, доктору Джонатану Штейнбергу из Колледжа Тринити-Холл Кембриджского университета, доктору Джону Стивенсону из Вустер-колледжа Оксфордского университета и профессору Норману Стоуну из Оксфордского университета. Мне не перечислить всех имен друзей и коллег, которые помогли мне, терпеливо задавая вопросы о теории и практике гипотетической истории за чашкой кофе, обедами и ужинами. И особенно я хочу поблагодарить свою жену Сьюзен, которая дарила мне вдохновение.

Введение

Виртуальная история

На пути к “хаотической” теории прошлого

Нил Фергюсон

История... представляет собой непреходящий, неостановимый хаос бытия, в котором бесконечное число элементов образует форму за формой. И этот хаос... историку предстоит описать и проанализировать с помощью науки!

Томас Карлейль

Исключительного прошлого не существует... Существует бесконечное количество прошлых, каждое из которых в равной степени состоятельно... И в каждый момент времени, каким бы кратким он ни казался, цепь событий раздваивается, подобно ветви дерева, на которой появляются новые побеги.

Андре Моруа

Непреходящее достижение исторической науки заключается в историческом осознании – интуитивном понимании – того, как на самом деле ничего не происходит.

Льюис Нэмир

Историк должен... постоянно помещать себя в тот момент прошлого, в котором известные факторы допускают различные варианты развития событий. Если он говорит о битве при Саламине, должно казаться, словно персы еще могут победить; если он говорит о Брюмерском перевороте, должно оставаться непонятным, не выгонят ли с позором Бонапарта.

Йохан Хейзинга

Что, если бы не случилось Английской революции? Что, если бы не произошло Войны за независимость США? Что, если бы Ирландию не разделили на две части? Что, если бы Великобритания не вступила в Первую мировую войну? Что, если бы Гитлер осуществил вторжение в Британию? Что, если бы он победил Советский Союз? Что, если бы русские выиграли холодную войну? Что, если бы Кеннеди остался жив? Что, если бы не появился Горбачев?

Эти гипотетические или “противоречащие фактам” вопросы сталкиваются с простым возражением: зачем их вообще задавать? Зачем думать о том, чего *не* случилось? Говорят, после драки кулаками не машут, так что нечего и гадать, как можно было ее предотвратить. (Еще бесполезнее рассуждать, что было бы, если бы драки не случилось вообще.)

Ответить на это возражение можно довольно просто, ведь мы постоянно задаем себе такие “противоречащие фактам” вопросы в повседневной жизни. Что, если бы я не превысил скорость или отказался от последнего бокала? Что, если бы я никогда не встретил своего супруга? Что, если бы я поставил на фаворита, а не на его соперника? Такое впечатление, что мы не можем не представлять себе альтернативные сценарии: что могло бы случиться, если бы мы поступили так, а не иначе... Мы представляем, как избегаем прошлых ошибок или совершаем ошибки, которых нам едва удалось избежать. Но это лишь грезы. Само собой, мы прекрасно понимаем, что не можем вернуться в прошлое и поступить по-другому. Однако сами

размышления в сослагательном наклонении представляют собой важный аспект нашей способности к обучению. Поскольку решения о будущем – обычно – принимаются на основании оценки потенциальных последствий альтернативного варианта действий, вполне логично сравнивать результаты наших прошлых действий с вероятными результатами тех действий, которые мы могли бы совершить.

Голливуд без устали эксплуатирует наше очарование тем, что в грамматике называется сослагательным наклонением (“Но для *X*, возможно, не было *Y*”). В фильме Фрэнка Капры “Эта замечательная жизнь” ангел-хранитель Джимми Стюарта ловит его на пороге самоубийства и показывает, насколько хуже был бы мир – или хотя бы его родной город, – если бы его не было. В “Пегги Сью вышла замуж” женщина среднего возраста в исполнении Кэтлин Тернер сожалеет о том, кого выбрала в мужа много лет назад, а в “Назад в будущее” Майкл Джей Фокс едва не предотвращает собственное зачатие, отправляясь в прошлое и случайно уводя свою будущую мать у будущего отца. Подавленный гибелью своей девушки во время землетрясения, “Супермен” Кристофера Рива обращает время вспять и спасает ее от “будущей” катастрофы, свидетелями которой только что стали он сам и все зрители. Писатели-фантасты тоже неоднократно прибегали к тому же приему. К примеру, в “Поисках наугад” Джона Уиндема физик Колин Трефффорд попадает в параллельную вселенную, где не случилось ни Второй мировой войны, ни изобретения атомной бомбы, и обнаруживает там свое *alter ego* – распутного, поколачивающего жену писателя. В подобном рассказе Рэй Брэдбери представляет, как весь мир медленно, но верно меняется из-за путешественника во времени, который случайно наступает на доисторическую бабочку¹.

Само собой, голливудские фильмы и фантастические романы в академической среде значения не имеют. Однако сама эта тема привлекала внимание и весьма авторитетных писателей. В своем веймарском шедевре “Человек без свойств” Роберт Музиль подробно описал нашу predisposition к размышлениям в сослагательном наклонении:

Но если есть на свете чувство реальности – а в его праве на существование никто не усомнится, – то должно быть и нечто такое, что можно назвать чувством возможности. Кто обладает им, тот, к примеру, не скажет: случилось, случится, должно случиться то-то и то-то; нет, он станет выдумывать: могло бы, должно бы случиться то-то и то-то, хорошо бы случиться тому-то; и если ему о чем-нибудь говорят, что дело обстоит так-то и так-то, он думает: ну, наверно, оно могло бы обстоять и иначе. Таким образом, чувство возможности можно определить как способность думать обо всем, что вполне могло бы быть, и не придавать тому, что есть, большую важность, чем тому, чего нет... Между тем возможное включает в себя... еще не проснувшиеся намерения бога. Возможное событие или возможная истина – это не то, что остается от реального события или реальной истины, если отнять у них их реальность, нет, в возможном, по крайней мере, на взгляд его приверженцев, есть нечто очень божественное, огонь, полет, воля к созиданию и сознательный утопизм, который не страшится реальности, а подходит к ней как к задаче, как к изобретению.

Тем не менее, как заметил далее Музиль, всегда остаются те, кто считает это чувство возможности в высшей степени подозрительным:

Ясно, что следствия такого творческого дарования могут быть любопытными, и нередко, к сожалению, они представляют то, чем люди

¹ Анализ привлекательности этих воображаемых альтернативных миров см. в книге: Pavel Th. *Fictional Worlds*. Cambridge, Mass., 1986.

восхищаются, ложным, а то, что они запрещают, дозволенным – или и то и другое не имеющим ровно никакого значения. Такие люди возможности витают, как говорят, в облаках, в облаках фантазии, мечтаний и сослагательного наклонения. У детей, имеющих эту тягу, ее настойчиво искореняют, называя при них таких людей фантазерами, мечтателями, слюнтяями, а также критиканами и придирами².

И это, можно сказать, довольно точно описывает отношение поколений историков, для которых, как пренебрежительно заметил Э. Х. Карр, “сослагательная” (*counterfactual*) история не более чем “салонная игра”, “отвлекающий маневр”³. С этой точки зрения нет и никогда не было никаких сомнений в том, что вопросы типа “Что, если?” вообще не стоит задавать. Обдумывать “все то, что могло бы случиться” – значит, не только принимать исторические теории о “плохом Иоанне Безземельном” и “носе Клеопатры”. Это значит быть неудачником:

Множество людей, которые прямо или косвенно пострадали от последствий большевистской победы... желает заявить свой протест; и это выражается в том, что, читая об истории, они позволяют своему воображению разгуляться и представить всевозможные более приемлемые вещи, которые могли бы произойти... Это исключительно эмоциональная, неисторическая реакция... В группе или нации, которая стоит на обочине истории, а не седлает историческую волну, превалируют теории, подчеркивающие роль случайности в истории. Провалившие экзамен всегда считают, что его результаты не более чем лотерея... История представляет собой... перечисление того, что люди сделали, а не того, что им сделать не удалось... Историк интересен те, кто... сумел чего-то добиться⁴.

Такая враждебность к сослагательному наклонению была и остается на удивление типичной для профессиональных историков. Э. П. Томпсон и вовсе назвал “противоречащие фактам выдумки” не более чем “*Geschichtswissenschaftlopff*, лишенным историзма бредом (*unhistorical shit*)”⁵.

Стоит отметить, что не все историки причисляют себя к “детерминистам” даже в широком смысле слова, который предпочитают использовать англомарксисты вроде Карра и Томпсона. Между сторонниками исторической предопределенности – идеи, что события в некотором роде предварительно запрограммированы, то есть случившееся должно было случиться, – и сторонниками более ограниченной каузальности существуют важные различия. Не все сторонники линейной или потоковой каузальности, при которой все события представляют собой единственно возможные следствия “определяющих” предпосылок, разделяют мнение множества детерминистов девятнадцатого века, полагавших, что она имеет какую-то цель или однозначную направленность. Существуют весьма глубокие различия между религиозными историками, которые видят божественную волю в итоговом (но не обязательно единственно верном) течении событий; материалистами, которые считают историю поддающейся объяснению в категориях, аналогичных категориям естественных наук (таким как универсальные законы) или произведенным от них; и идеалистами, для которых история представляет собой происходящую в воображении историка трансформацию прошлой “мысли” в поддающуюся объяснению (и часто телеологическую) структуру. Тем не менее они придерживаются одного общего мне-

² Музиль Р. *Человек без свойств* / Пер. С. К. Апта. Москва, 1994.

³ Carr E. H. *What Is History?* 2nd ed. London, 1987.

⁴ Carr E. H. *What Is History?* 2nd ed. London, 1987. Pp. 44f., 90, 96, 105.

⁵ Thompson E. P. *The Poverty of Theory and Other Essays*. London, 1978. P. 300.

ния, которое стоит выше всех этих различий. Все три школы мысли считают вопросы типа “что, если?” в корне неприемлемыми.

Хотя Бенедетто Кроче и был непоколебимым противником материалистического детерминизма, к которому склонялись такие ученые, как Карр и Томпсон, он беспощадно критиковал “абсурдность” гипотетических вопросов:

Когда факт подвергается оценке, этот факт рассматривается таким, какой он есть, а не таким, каким он мог бы быть в ином случае... Чтобы исключить из истории “сослагательность”, которой в ней не место, полагается постоянно подтверждать историческую неизбежность... Запрещается... антиисторическое и алогичное “если”. Такое “если” своевольно разделяет ход истории на неизбежные факты и случайные факты... Под знаком этого “если” один факт в нарративе называется неизбежным, а другой – случайным, причем второй мысленно устраняется, чтобы изучить, как развивался бы первый сам по себе, если бы на него не повлиял второй. Этой игре мы все предаемся в моменты рассеянности и праздности, когда мы раздумываем, как сложилась бы наша жизнь, если бы мы не познакомились с конкретным человеком... получая удовольствие от этих раздумий, словно бы мы сами представляем собой неизбежный и стабильный элемент, в то время как нам и в голову не приходит... учесть трансформацию нашего сознания, которое в момент размышления именно такое, какое оно есть, со всеми переживаниями, сожалениями и пристрастиями, просто потому, что мы все же познакомились с этим человеком... Поскольку, если бы мы попытались столь же полно проанализировать реальность, игра закончилась бы очень быстро... При попытке сыграть в такую игру на поле истории, где ей совершенно не место, она оказывается слишком изнурительной, чтобы играть в нее долго⁶.

Еще более яростно противостоял гипотетичности английский философ-идеалист Майкл Оукшотт. По мнению Оукшотта, когда историк “в рамках мысленного эксперимента предполагает, что могло бы произойти, а также во что его заставляют поверить свидетельства”, он выходит “из потока исторической мысли”:

Возможно, если бы святого Павла схватили и убили, когда друзья спустили его со стен Дамаска, христианская религия никогда не стала бы центром нашей цивилизации. В этом отношении распространение христианства можно связать с побегом святого Павла... Однако когда события рассматриваются с такой точки зрения, они сразу перестают быть историческими фактами. В результате получается не просто плохая или сомнительная история, а происходит полное отрицание истории... Разделение... событий на важные и случайные совершенно не свойственно исторической мысли; это вероломное вторжение науки в мир истории.

Оукшотт продолжил:

Вопрос истории заключается не в том, что должно или что могло бы произойти, а исключительно в том, что произошло на основании имеющихся свидетельств. Если бы Георг III был королем Англии, когда начались волнения в американских колониях, вполне вероятно, что возникшие там противоречия

⁶ Croce B. “Necessity” in History, in *Philosophy, Poetry, History: An Anthology of Essays* / Trans. by C. Sprigge. London/New York/Toronto, 1966. Pp. 557ff. Кроче упоминает, что историку, вероятно, проще задать гипотетический вопрос о прошлом, чем о собственной жизни.

не привели бы к войне; однако сделать на этом основании вывод, что Георг III стал именно той случайностью, которая в этот критический момент изменила “естественный” ход событий, значит отринуть историю во имя чего-то менее полезного, пускай и более любопытного... Историку не пристало размышлять, что случилось бы в иных обстоятельствах⁷.

Таким образом, представлять альтернативные варианты развития событий, по словам Оукшотта, “чистый миф, несдержанность воображения”. Должно быть, это один из немногих аспектов, в отношении которых он согласен с Карром и Томпсоном.

Столь враждебные настроения столь разных фигур отчасти объясняют, почему ответы на гипотетические вопросы, с перечисления которых я начал рассказ, гораздо чаще дают писатели, чем историки: например, можно вспомнить недавний детективный роман Роберта Харриса “Родина”, действие которого разворачивается в воображаемой Европе через двадцать лет после победы нацистов⁸. В таких книгах материал тщательно изучен. Однако они неизбежно художественны, а их сюжет следует классической схеме популярного триллера, что само по себе умаляет правдоподобие исторической картины. Вместо того чтобы стать катастрофой, которая едва не произошла – и чтобы предотвратить которую погибли миллионы, – победа нацистов во Второй мировой войне превращается лишь в пикантный фон действия хорошего дорожного чтива. От подобных гипотетических исторических предположений отталкивается и множество других художественных произведений: еще одним хорошим примером может служить роман “Операция” Кингсли Эмиса, в котором он с легкостью отменяет английскую Реформацию⁹. И все же эти книги имеют с историей не больше общего, чем книги по “футурологии”, которую Лондонская библиотека вежливо называет “воображаемой историей”. Футурологи часто предполагают, какие из возможных альтернатив, стоящих перед нами сегодня, выйдут на первый план в грядущие годы, и обычно в основе их предсказаний лежит экстраполяция прошлых тенденций. Однако, судя по точности подобных работ, в их основе с тем же успехом может лежать как астрология, так и гадание на картах Таро¹⁰.

Тем не менее находились и серьезные историки, которые отваживались анализировать (или хотя бы задавать) гипотетические вопросы. Субтильность определенных исторических фактов всегда очаровывала Гиббона, который время от времени позволял себе писать откровенно гипотетическим образом. Хорошим примером служит его краткая зарисовка событий, которые могли бы случиться, если бы Карл Мартелл не победил сарацин в 733 г.:

Победный марш был продлен на тысячу миль от Гибралтарской скалы до берегов Луары; повторение этого марша привело бы сарацин во владения Польши и на Шотландское высокогорье; переправа через Рейн не сложнее переправы через Нил или Евфрат, а арабский флот мог без морских боев войти

⁷ Oakeshott M. *Experience and its Modes*. Cambridge, 1933. Pp. 128–145.

⁸ Harris R. *Fatherland*. London, 1992. Мысль о победе Германии вдохновила и множество других, менее успешных сочинений, например: Dick Ph. K. *The Man in the High Castle*. New York, 1962; Benford G. and Greenberg M. (Eds). *Hitler Victorious: Eleven Stories of the German Victory in World War Two*. London, 1988; Tsouras P. *Disaster at D – Day: The Germans Defeat the Allies, June 1944*. London, 1994.

⁹ Amis K. *The Alteration*. London, 1976. Сходная католическая утопия представлена в книге: Roberts K. *Pavane*. London, 1968. Неудивительно, что существуют и подобные художественные произведения, основанные на победе южан в Гражданской войне в США: Moore W. *Bring the Jubilee*. New York, 1953; Turtledove H. *The Guns of the South*. New York, 1992. Менее знакомы английскому читателю два фантастических произведения, в основе которых лежит победа республиканцев в Гражданской войне в Испании: Diaz-Plaja F. *El desfile de la victoria*. Barcelona, 1976; Torbado J. *En el día de hoy*. Barcelona, 1976. Благодарю доктора Брендана Симмса за эти ссылки.

¹⁰ Вот несколько вопиющих примеров жанра: Wells H. G. *The Shape of Things to Come: The Ultimate Revolutions*. London, 1933; Churchill R. C. *A Short History of the Future*. London, 1955; Hackett J. *The Third World War: The Untold Story*. London, 1982; Clark W. *Cataclysm: The North – South Conflict*. London, 1984; Jay P., Stewart M. *Apocalypse 2000: Economic Breakdown and the Suicide of Democracy, 1989–2000*. London, 1987; Davidson J. D., Rees-Mogg W. *The Great Reckoning: How the World Will Change in the Depression of the 1990s*. London, 1992.

в устье Темзы. Возможно, теперь в колледжах Оксфорда учили бы трактовки Корана, а с кафедр обреченным слушателям демонстрировались бы святость и истина откровения Мухаммеда¹¹.

Само собой, это было лишь ироническое отступление, шутка Гиббона в сторону университета, который так малому его научил. Гораздо более амбициозным был французский писатель Шарль Ренувье, “Ухрония” которого (опубликованная ровно через сто лет после выхода первого тома “Упадки и разрушения” Гиббона) представляла собой не что иное, как “историческое и апокрифическое эссе о развитии европейской цивилизации не как она сложилось, а как могла бы вероятно сложиться”. Ренувье называл себя “своего рода Сведенборгом от истории – визионером, который представляет прошлое”, и описывал свою книгу как “смешение реальных фактов и воображаемых событий”¹². Представленная в качестве завета антидетерминиста XVII века, поддержанного и подпитанного его потомками, центральная гипотетическая идея “Ухронии” не слишком отличается от идеи Гиббона. Христианство не распространяется на Западе в результате незначительного изменения в ходе событий в конце правления Марка Аврелия. Христианство укореняется только на Востоке, в то время как на Западе еще тысячу лет царит классическая культура. Вследствие этого, когда христианство достигает Запада, оно становится лишь одной из многих религий, допускаемых в секулярной, по сути, Европе. Учитывая либеральные симпатии Ренувье, неудивительно, что книга имеет явный антиклерикальный посыл¹³.

В 1907 г. – через шесть лет после того, как Ренувье опубликовал второе издание “Ухронии” – наиболее склонный к литературству эдвардианский историк Д. М. Треvelyан написал (по предложению редактора *Westminster Gazette*) эссе под заголовком: “Если бы Наполеон выиграл битву при Ватерлоо”. Как и у Гиббона, альтернативное прошлое Треvelyяна скорее ужасало, чем вдохновляло. В условиях господства Наполеона на континенте после победы при Ватерлоо Британия остается на “проторенной дорожке тирании и мракобесия”. Возглавленная Байроном революция жестоко подавляется, и целому поколению молодых радикалов приходится бороться за свободу в далеких южноамериканских пампасах. Наполеон наконец умирает в 1836 г. “врагом как старого режима, так и демократической свободы”. Короче говоря, без Ватерлоо никаких вигов¹⁴.

И все же, несмотря на пример Треvelyяна, в этом жанре работало немного серьезных историков. Когда двадцать пять лет спустя Дж. К. Скуайр составил сборник подобных гипотетических эссе, в него вошли сочинения разношерстной группы из одиннадцати авторов, в основном писателей и журналистов¹⁵. Тон сборника Скуайра “Если бы случилось иначе” был самокритичным; книгу даже снабжал подзаголовок “отклонения в воображаемую историю”. Скуайр сразу подчеркнул, что не все авторы писали “в одинаковом ключе. Одни добавляли в свои спекуляции больше сатиры, чем другие”. И правда, некоторые их фантазии позволяют применить к нему замечание Джонсона, который сказал, что “не стоит верить всему, что написано на могильном камне”. К несчастью, введение Скуайра тоже стало своего рода надписью на могильном камне. Гипотетическая история “не слишком помогает”, равнодушно заключил он, “поскольку никто и ничего не может знать наверняка”. Неудивительно, что об этом сборнике скоро забыли навсегда.

¹¹ Gibbon E. *The Decline and Fall of the Roman Empire*. Vol. V (ch. III). London, 1994. P. 445.

¹² Renouvier Ch. *Uchronie (l'utopie dans l'histoire): Esquisse historique apocryphe du développement de la civilisation européenne tel qu'il n'a pas été, tel qu'il aurait pu être*. Paris, 1876; 2^{me} éd, Paris, 1901. P. iii.

¹³ Ренувье посвятил книгу “новым партизанам человеческой свободы, какой она была в том прошлом, которое было ею создано”. “Наше главное спасение, – провозгласил он, – решать за себя” (*ibid.*, p. 31).

¹⁴ Trevelyan G. M. *If Napoleon had won the Battle of Waterloo // Trevelyan G. M. Clio, a Muse and Other Essays*. London, 1930. Pp. 124–135. Более свежий ответ французов см. в работе: Aron R. *Victoire à Waterloo*. Paris, 1968.

¹⁵ Squire J. C. (Ed.). *If It Happened Otherwise: Lapses into Imaginary History*. London/New York/Toronto, 1932.

Можно ли сказать, что книга Скуайра на целое поколение дискредитировала саму идею гипотетической истории? Безусловно, некоторые ее главы помогают объяснить, почему столь многие историки считают гипотетическую историю не более чем салонной игрой. К примеру, эссе Филипа Гедаллы “Если бы в Испании победили мавры” основано на предположении, что в 1491 г. испанцы потерпели поражение при Ланхароне, в результате чего Гранадский эмират стал центром арабского Возрождения и империи XVIII века. (В этом альтернативном мире Дизраэли в итоге становится великим визирем Гранады.) Еще экстравагантнее эссе Г. К. Честертона “Если бы дон Хуан Австрийский [незаконнорожденный брат короля Испании Филиппа II] женился на Марии Стюарт”, которое представляет собой контрреформационный роман, где королевская чета искореняет кальвинизм в Шотландии, наследует английский престол и откладывает Реформацию на неопределенный срок. В эссе “Если бы Наполеон бежал в Америку” Г. А. Л. Фишер представляет, как Бонапарт пересекает Атлантику (вместо того чтобы сдаться противникам на борту “Беллерофонта”) и объединяется с Боливаром, чтобы освободить Латинскую Америку от папизма и монархии. Гарольд Николсон перенимает эстафету в эссе “Если бы Байрон стал королем Греции”, где Байрон выживает после лихорадки, которая убила его в Миссолонги в 1824 г., и в конце концов достигает нелепого апофеоза, становясь марионеточным недотепой-королем Георгом I Греческим (1830–1854). (Что характерно, самым долговечным достижением Байрона Николсон называет “расчистку вершины Акропольского холма от мусора и возведение на ней точной копии Ньюстедского аббатства”.) Эссе Милтона Уолдмана “Если бы Бут не попал в Линкольн” гораздо менее фривольно: в нем Линкольн изображается гротескно стареющим “загнанным аристократом”, дискредитированным мягким мирным договором, не удовлетворившим ни Север, ни Юг. Пребывая на ножах с собственной более мстительной партией в Конгрессе, он умирает в 1867 г., измотанный последней, обреченной на провал предвыборной кампанией¹⁶. Что же до эссе самого Скуайра под заголовком “Если бы в 1930 году обнаружилось, что произведения Шекспира на самом деле создал Бэкон”, о нем можно сказать лишь то, что оно вполне подошло бы для журнала *Punch* того времени (притянутая за уши развязка заключалась в том, что на самом деле это Шекспир создал все работы Бэкона). То же самое относится и к созданному Рональдом Ноксом пародийному выпуску *The Times* от 31 июня 1930 г., в котором задним числом датировалась успешная всеобщая забастовка¹⁷.

Нужно признать, что сборник “Если бы...” все же не лишен исторической ценности. Андре Моруа в своей главе избегает Великой французской революции, вполне правдоподобно предполагая, что Тюрго довел до конца успешную финансовую реформу, не только получив большую поддержку со стороны короля, но и одержав окончательную победу над Парламентом в 1774 г. и проведя реформу парижской полиции. Черчилль поднимает не менее интересные вопросы о победе южан в американской гражданской войне, предполагая победу конфедератов при Геттисберге. В эссе Эмиля Людвига утверждается – как многие полагали в то время, – что, если бы германский император Фридрих III не умер в 1888 г. (проведя всего девяносто девять дней на троне), немецкое политическое развитие могло бы взять более либеральный курс. И все же даже лучшие главы сборника “Если бы...” совершенно явно представляют собой продукт текущих политических и религиозных воззрений их авторов. В результате они сообщают нам гораздо меньше об альтернативах XIX века, чем, например, о господствовавших

¹⁶ Благосклонный к Линкольну гипотетический анализ см. в работе: Lewis L. *If Lincoln Had Lived* // Raney M. L., Lewis L., Sandburg C., Dodd W. E. *If Lincoln Had Lived: Addresses*. Chicago, 1935. Pp. 16–35.

¹⁷ Характер эссе передает список перечисленных законов: “Закон об обязательном трудоустройстве”, “Билль о цензуре в юмористических газетах” и “Билль о роспуске компаний Сити”. Хотя все это рисует довольно забавную картину советизованной Британии, современным читателям, вероятно, не покажутся удивительными такие вещи – которые Ноксу представлялись в той же степени невероятными, – как “Билль об ограничении максимального жалования директоров компаний”, озеро избыточного молока и “рационализация университетов” с целью замены предметов оксфордского гуманитарного курса инженерным делом.

в 1930-х гг. взглядах на Первую мировую войну. Так, Моруа представляет французскую опасность стабильно гарантированной объединенными англо-американскими силами (Британия победила в Войне за независимость США); Черчилль склоняется к такому же трансатлантическому союзу (Британия сумела помириться с Югом и одержала победу над Севером); а Людвиг поет старую немецкую либеральную песню об упущенной возможности для англо-германского союза (который, по его мнению, заключил бы Фридрих, проживи он дольше). Иными словами, вместо того чтобы рассматривать события прошлого с намеренным безразличием в отношении того, что известно о последующих событиях, каждый из авторов отталкивается от животрепещущего вопроса современности: как можно было избежать всех ужасов Первой мировой войны? В итоге их эссе представляют собой, по сути, ретроспективные бесплодные мечты. Любопытно, что один Хилэр Беллок представил гипотетическую реальность худшей, чем историческая. Как и Моруа, Беллок отменил Великую французскую революцию, но при этом ускорил упадок Франции в качестве великой державы, что позволило Священной Римской империи превратиться в европейскую федерацию, “простирающуюся от Балтики до Сицилии и от Кёнигсберга до Остенде”. Таким образом, когда в 1914 г. вспыхивает война с этой Великой Германией, поражение терпит Великобритания, которая становится “провинцией Европейского содружества наций”.

С теми же проблемами столкнулся и другой, более свежий сборник гипотетических эссе под названием “Если бы я был”¹⁸. Двое авторов предотвращают американскую Войну за независимость (один как граф Шелберн, другой как Бенджамин Франклин), еще один (как Хуарес) предотвращает Мексиканскую гражданскую войну, в 1867 г. даруя помилование императору Мексики Максимилиану, а еще один (как Тьер) избегает франко-прусской войны 1870–1871 гг. Оуэн Дадли Эдвардс (как Гладстон) решает ирландский вопрос, проводя аграрную реформу, вместо того чтобы вводить гомруль, Гарольд Шукман (как Керенский) избегает большевистского переворота, осторожнее относясь к Корнилову, а Луи Аллен (как Тодзио) выигрывает для Японии войну, атакуя Британскую и Голландскую империи вместо Перл-Харбора, что было несбыточной мечтой как для американцев, так и для японцев. Словно бы этого недостаточно, в 1952 г. Германия воссоединяется благодаря Аденауэру Роджера Моргана, Пражская весна не подавляется благодаря Дубчеку Филиппа Виндзора, а чилийская демократия сохраняется благодаря Альенде Гарольда Блейкмора. Проблема в том, что все это понятно лишь задним умом. В каждом случае аргументы основаны в большей степени на том, что мы знаем о последствиях случившегося, чем на вариантах и данных, которые на самом деле были доступны интересующим нас личностям в нужное время.

Еще одна слабость сборников Скуайра и Сноумена заключается в том, что в ряде глав единственная, часто банальная перемена приводит к судьбоносным последствиям. Хотя нет никаких логических причин, по которым банальности *не могут* приводить к судьбоносным последствиям, не стоит забывать об опасности редуктивного вывода, что банальность *и стала* причиной великого события. Теория о носе Клеопатры (предложенная Паскалем) представляет собой самое известное из множества подобных редуктивных объяснений: таким образом, страсть Антония к ее большому носу определяет судьбу Рима. Другая теория связывает падение Ричарда III с потерей гвоздя:

*Не стало гвоздя, пропала подкова,
Не стало подковы, пропала и лошадь,
Не стало лошади, пропал и всадник,
Не стало всадника, пропала и победа,
Не стало победы, пропало и королевство!*

¹⁸ Snowman D. (Ed.). *If I Had Been... Ten Historical Fantasies*. London, 1979.

Та же логика лежит и в основе предположения Гиббона о том, что только подагра жившего в четырнадцатом веке османского султана Баязида не дала ему разграбить Рим,¹⁹ и в основе убеждения закоренелого южанина, что Юг проиграл Гражданскую войну в США только из-за случайного обнаружения Специального приказа № 191 генерала Ли генералом Союзной армии Джорджем Макклелланом; и в основе утверждения Черчилля, что крупная война между Грецией и Турцией разразилась из-за укуса больной обезьяны, которая в 1920 г. убила короля Греции Александра I²⁰. Подобно тому как эти редукативные объяснения подразумевают использование гипотез (нет обезьяньего укуса – нет войны), ряд гипотез из сборника Скуайра основан на редукативных объяснениях: что недостаточная жесткость Людовика XVI привела к Великой французской революции, что ранняя смерть Фридриха III вызвала Первую мировую войну и так далее. Точно так же книга Сноумена с начала до конца основывается на допущении, что ошибочные решения ряда “великих мужей” привели к серьезным кризисам вроде потери американских колоний, франко-прусской войны и большевистской революции. Как и в случае с другими редукативными объяснениями, перечисленными выше, порой это может быть правдой, однако необходимо не просто допустить это, но продемонстрировать наглядно, иначе объяснения просто не внушают доверия – а лежащие в их основе гипотетические исходы рушатся²¹.

Сродни этому и проблема юмора. Эссе в сборнике Скуайра задуманы быть в разной степени смешными. Однако чем смешнее они, тем неправдоподобнее. Это относится к большинству редукативных объяснений: они могут стать правдоподобнее, если сформулировать их иначе. “Если бы Антоний не задержался в Египте, он мог бы победить Цезаря”; “Если бы Ричард III выиграл битву при Босворте, он мог бы стабилизировать правление Йорков”; “Если бы Баязид решил напасть на Италию после победы в Венгрии, он вполне мог бы разграбить Рим”; “Не знай Союзные войска о намерениях Ли, они вполне могли бы потерпеть поражение при Энтитеме”; “Если бы король Греции не умер, войны с Турцией могло бы не случиться”. В каждом случае гипотеза становится не такой смешной, но при этом более вероятной. Подобным образом можно предположить и что, если бы всеобщая забастовка прошла успешнее, лейбористское правительство, возможно, продержалось бы дольше и достигло бы в межвоенный период большего, чем на самом деле. Гипотетическая история становится неправдоподобной, только когда ее представляют в качестве фальшивого выпуска *The Times*.

Как бы то ни было, сборник Скуайра закрепил за гипотетическими эссе характер остроумных наблюдений, бесплодных мечтаний и редукативных объяснений – а главное, академического юмора. В характерно хулиганской манере критикуя марксизм в работе “Свобода и организация” (1934), Бертран Рассел поддержал заданный Скуайром стандарт:

Вполне вероятно, что, если бы Генрих VIII не влюбился в Анну Болейн, Соединенных Штатов сегодня не было бы. Именно в результате этого события Англия порвала с папством, а следовательно, не признала передачу Америки Испании и Португалии в качестве папского подарка. Если бы Англия осталась католической, возможно, сегодняшние Соединенные Штаты стали бы частью Испанской Америки.

В том же шутовском ключе Рассел предложил “без лишних церемоний следующую альтернативную теорию о причинах промышленной революции”:

¹⁹ Gibbon Ed. *Decline and Fall*. Vol. VI (ch. lxiv). P. 341.

²⁰ Churchill W. *The World Crisis: The Aftermath*. London, 1929. P. 386.

²¹ Dray W. *Laws and Explanation in History*. Oxford, 1957. P. 103.

Индустриализм обязан современной науке, современная наука обязана Галилею, Галилей обязан Копернику, Коперник обязан Возрождению, Возрождение обязано падению Константинополя, падение Константинополя обязано миграции турок, миграция турок обязана засухе в Центральной Азии. Следовательно, причины исторических событий объясняет фундаментальная наука – гидрография²².

Эту традицию продолжает и сборник эссе “В поисках лошади”, опубликованный в 1984 г. Джоном Мерриманом²³. В него вошли три американских спекуляции: “Что, если бы Покахонтас не спасла капитана Джона Смита?”, “Что, если бы Вольтер эмигрировал в Америку в 1753 г.?” и “Что, если бы дочь губернатора Хатчинсона убедила его не отсылать «Дартмут» обратно?” (этот инцидент в итоге спровоцировал Бостонское чаепитие). Кроме того, там освещались две французские темы: “Что, если бы бегство из Варенна оказалось успешным?” и “Что, если бы линия Бурбонов не пресеклась в 1820 г.?”. Была и одна британская: “Что, если бы Вильгельм III потерпел морское поражение от Якова II?”. В целом, это была увеселительная история. Тон сборнику задавала глава, в которой предполагалось, что случилось бы, если бы Фидель Кастро подписал контракт с бейсбольной командой “Нью-Йорк Джайнтс”. В том же ключе было написано и абсурдное эссе Питера Гея, в котором утверждалось, что психоанализ восприняли бы серьезнее, если бы его основатель не был евреем. Реальную историческую ценность имело только эссе Конрада Рассела о 1688 г. под названием “Католический ветер”²⁴.

В нем Рассел оживляет вопрос, полушутя поставленный Честертоном в сборнике Скуайра: можно ли было отменить английскую Реформацию, если бы попутный ветер дул для флота Якова II, а не для флота Вильгельма III? Вариация на ту же тему всего несколькими годами ранее была предложена Хью Тревор-Ропером, который рассуждал о неизбежности падения Стюартов в 1640-х и 1680-х, спрашивая: “Будь король мудрее [Карла I или Якова II], сумел бы он сохранить или реставрировать английскую авторитарную монархию, как случилось во многих европейских странах?” Если бы у Карла I было “еще несколько лет”, предположил Тревор-Ропер, старение его парламентских оппонентов могло сыграть против них. Если бы Яков, “как и его брат, ставил политику выше религии ... реакционизм Стюартов... мог бы укорениться ... И разве в таком случае ведущие виги Англии не склонились бы перед взошедшим солнцем, подобно ведущим гугенотам Франции?”²⁵ Недавно Джон Винсент развил эту тему, дополнив предложенную Ренувье “альтернативную” историю языческой Европы альтернативной историей католической Англии. Винсент выбрал более раннюю отправную точку, чем Рассел и Тревор-Ропер:

Испанское завоевание шестнадцатого века [включало в себя] относительно бескровное внедрение рациональности, но... новая стабильность налогообложения привела к единичным бунтам, таким как восстание норвичских иконоборцев. Важнее, что это лишило Англию возможности исполнить роль демилитаризованного сателлита. Во время Тридцатилетней

²² Russell B. *Dialectical Materialism* // Gardiner P. (Ed.). *Theories of History*. Glencoe, Illinois/London, 1959. Pp. 294f.

²³ Merriman J. M. (Ed.). *For Want of a Horse: Chance and Humour in History*. Lexington, Mass., 1984. На самом деле лишь около половины эссе представляют собой настоящий гипотетический анализ.

²⁴ Russell C. *The Catholic Wind* // Merriman J. M. (Ed.). *For Want of a Horse: Chance and Humour in History*. Lexington, Mass., 1984. P. 103–107.

²⁵ Trevor-Roper H. *History and Imagination* // Pearl V., Worden B. and Lloyd-Jones H. (Eds.). *History and Imagination: Essays in Honour of H. R. Trevor-Roper*. London, 1981. Pp. 356–369. В той же лекции содержится более современный гипотетический анализ с перечислением “четырех гипотетических обстоятельств”, которые могли бы сделать победу Германии в Западной Европе “окончательной” после 1940 г.: если бы не было Черчилля, если бы не было разведки “Ультра”, если бы Франко присоединился к странам “оси” и если бы Муссолини не начал вторжение в Грецию.

войны целых четыре иноземные армии боролись за господство над английской территорией, и в народной памяти навсегда осталось падение Бристоля.

После этой катастрофы Винсент представляет период “стабильности”, захватывающий значительную часть восемнадцатого века, однако он оканчивается новым бедствием: “падением государственного кредита после поражения во Французской войне и передаче Франции «естественной границы» по Темзе”.

Далее ситуация быстро ухудшается, так что девятнадцатый век становится закатом, а не расцветом Англии:

Последующее отречение от престола привело к вялотекущей гражданской войне между республикой джентри Гражданина Берка и Морскими радикалами, которая окончилась установлением протектората маршала Уэлсли и вхождением во французскую систему меркантилизма. Несмотря на равнодушное правительство, при Уэлсли лишенная возможности торговать Англия неуклонно шла к демографической катастрофе, которую обострила зависимость от единственного злака, поступавшего на зернохранилища стремительно идущей по пути индустриализации Франции. Пшеничная ржа и массовый голод “сырых лет” привели к катастрофической депопуляции. В политическом отношении провал французских попыток помощи спровоцировал подъем национализма с целью освободить так называемую “потерянную” французскую провинцию к югу от Темзы, однако движение резко сошло на нет после бегства графов-вигов на Мадейру и высылки Гладстона на остров Святой Елены.

Однако худшее было впереди:

Определяющим событием следующего столетия стала Германская война. Длительная научная отсталость Англии обусловила неизбежность того, что Германия первой создала атомную бомбу. Полное уничтожение Лидса и Шеффилда привело к быстрой капитуляции и хотя бы спасло Англию от вторжения. Можно сказать, что ни одно событие не оказало более серьезного влияния на вступление Англии в Европейский союз...²⁶

В отличие от многих авторов, эссе которых вошли в сборники Скуайра и Мерримана, ни Рассела, ни Тревора-Ропера, ни Винсента нельзя обвинить в бесплодных мечтаниях. Их предположения также нельзя назвать до смешного редуktивными. В каждом случае делается серьезное историческое наблюдение о факторе английской “исключительности”. И все же их рассуждения остаются лишь предположениями, которые подкрепляются не более чем обрывками аргументов. Это блестяще сформулированные гипотетические *вопросы*, но не ответы.

Совершенно иначе гипотетическую аргументацию использовали сторонники так называемой новой экономической истории²⁷. Первой серьезной попыткой применить количественную гипотетическую аргументацию стала работа Р. У. Фогеля о вкладе железнодорожного транспорта в американский экономический рост, в которой он построил модель экономического развития США без железных дорог, чтобы опровергнуть традиционное мнение, будто они стали ключевым фактором американской индустриализации. Согласно его расчетам, в отсутствие железных дорог ВВП США в 1890 г. был бы лишь немного ниже, чем на самом деле, хотя пло-

²⁶ Vincent J. *An Intelligent Person's Guide to History*. London, 1995. Pp. 39f. См. также его рассуждения о гипотетическом анализе на Pp. 45ff.

²⁷ См.: Fogel R. W. *The New Economic History: Its Findings and Methods* // *Economic History Review*, 2nd series. 19 (1966). Pp. 642–51; Hunt E. H. *The New Economic History* // *History* 53, 177 (1968). Pp. 3–13.

щадь обрабатываемой земли существенно сократилась бы²⁸. Подобные методы были использованы Макклоски и другими историками при обсуждении относительного экономического спада в Британии после 1870 г.²⁹

Здесь нет ни бесплодных мечтаний, ни юмора. Однако существуют серьезные возражения против подобных “клиометрических” аргументов. Чаще всего отмечается, что относительно скудная статистическая база XIX века не выдерживает построенных на ее основании экстраполяций и расчетов³⁰. В отношении работы Фогеля об экономике рабства это возражение имеет также и политический подтекст: его утверждение, что, если бы не Гражданская война, экономически рабство могло бы быть сохранено, само собой, не получило популярности среди многих американских либералов³¹. Однако это в значительной степени относится и к его работе о железных дорогах. Лишь довольно смелые предположения о “связях с поставщиками и заказчиками” позволили Фогелю построить – пускай только на компьютере – модель Америки без железных дорог. Более серьезное возражение к его подходу заключается в том, что обсуждаемым гипотетическим сценариям недостает исторического правдоподобия – не потому что они редуктивны или несерьезны, а потому что они анахронистичны. В то время, как правило, не вставал вопрос о том, строить ли железные дороги вообще, а дебаты сводились к обсуждению того, где именно их строить. Лучшее оправдание для Фогеля дает пояснение, что цель оценки “социальной экономии”, обеспеченной железными дорогами, не в том, чтобы создать правдоподобную альтернативную историю, а в том, чтобы проверить гипотезу о роли железных дорог в экономическом развитии. На самом деле никто не пытается “представить” Америку XIX века без железных дорог. Суть подобных гипотетических упражнений в том, чтобы показать, зачем *были* построены железные дороги, количественно оценив их (довольно значительный) вклад в экономику в целом. Подобным образом дебаты о вариантах экономической политики в последние годы существования Веймарской республики, как правило, показывают, что не было никаких политически жизнеспособных альтернатив дефляционным мерам, введенным канцлером Брюнингом в 1930–1932 гг.³²

Иначе говоря, существует два типа гипотетических рассуждений, используемых историками: первые представляют собой продукт воображения, но (в целом) лишены эмпирической основы, в то время как вторые призваны проверить гипотезы (предположительно) эмпирическим способом, который предпочитает расчеты воображению. В рассуждениях первого типа вдохновение часто черпается в ретроспективном взгляде в прошлое или предлагаются редуктивные объяснения, что лишает гипотезы правдоподобия. В рассуждениях второго типа часто делаются анахронистические допущения. Преодолеть эти трудности очень сложно – и это видно в революционной попытке Джеффри Хоторна совместить элементы обоих подходов³³. В одном из своих предположительно “правдоподобных миров” он “вычитает” чуму из французской средневековой истории, представляет последующий спад рождаемости в сельскохозяйственных регионах Франции и итоговое ускорение темпов французской экономической и политической модернизации в XVIII веке. В другом мире он представляет, как сложилась бы

²⁸ Fogel R. W. *Railways and American Economic Growth: Essays in Interpretative Econometric History*. Baltimore, 1964. Те же методы применены к британской ситуации в работе: *Railways and Economic Growth in England and Wales 1840–1870*. Oxford, 1970.

²⁹ См.: Floud R. and McCloskey D. N. *The Economic History of Britain since 1700*. 2nd ed. Vol. II. Cambridge, 1994.

³⁰ Elton G. R. and Fogel R. W. *Which Road to the Past? Two Views of History*. New Haven, 1983.

³¹ Fogel R. W. and Engerman S. L. *Time on the Cross: The Economics of American Negro Slavery*. Boston, 1974; Fogel R. W. *Without Consent or Contract: The Rise and Fall of American Slavery*. New York, 1989. Противоположную точку зрения см. в работе: Gutman H. G. *Slavery and the Numbers Game: A Critique of 'Time on the Cross'*. London, 1975.

³² Краткое изложение “дебатов Борхардта” см. в работе: Baron von Kruedener J. (Ed.). *Economic Policy and Political Collapse: The Weimar Republic, 1924–1933*. New York/Oxford/Munich, 1990.

³³ Эпохальные *Plausible Worlds: Possibility and Understanding in History and the Social Sciences* Джеффри Хоторна (Cambridge, 1991).

история, если бы американцы не вторглись в Корею после Второй мировой войны, а в третьем он уводит вектор развития итальянского искусства позднего дученто и раннего треченто в сторону от инноваций, которые стали предвестниками Возрождения. Второй пример, пожалуй, наиболее правдоподобен, поскольку он имеет корни в американских дипломатических документах³⁴. Другие “миры” Хоторна, однако, менее убедительны. Первый включает в себя допущение о связи средневековой демографии с экономическим и политическим развитием восемнадцатого века, которое покажется подозрительным даже самому закоренелому клиометру, а представление Хоторна об искусстве “невозрождения” практически всецело основано на сомнительных предположениях о динамике стилистических изменений в искусстве³⁵. Что же до его менее проработанных набросков о возрождении Лейбористской партии в 1980-х гг. и сверхдержаве мавров в XX веке (фактически это продолжение эссе Гедаллы 1932 г.), так они пришлось бы как раз к месту в новом издании “Если бы...” Скуайра³⁶.

Недостатки всех этих попыток подробного гипотетического анализа сами по себе вполне определенно объясняют, почему гипотетическая аналитика так и не прижилась. Задавая неправдоподобные вопросы или давая неправдоподобные ответы, гипотетическая история дискредитировала саму себя. И все же существуют, конечно, и другие причины, по которым столь малое количество историков предпринимает попытки рассуждать таким образом – или же, признавая возможность альтернативных исходов, оставляет гипотетическое подразумеваемым, своего рода подтекстом. Такие скрытые гипотетические рассуждения служат отличительной чертой множества недавних “ревизионистских” исторических трудов – неудивительно, что в них большинство ревизионистов ставят под вопрос ту или иную форму детерминистского толкования. Примером может служить по праву получившая признание “Современная Ирландия” Р. Ф. Фостера, в которой неоднократно подвергается сомнению националистическая убежденность в неизбежной независимости от “английского” правления. И все же Фостер ни разу не делает подразумеваемые альтернативы (к примеру, продолжение ирландского членства в унии, возможно в результате успешного принятия одного из ранних биллей о гомруле) явными³⁷. То же самое можно сказать и о предложенной Джоном Чармли полемической критике Черчилля, в которой подразумевается, что Британскую империю можно было бы сохранить и после 1940 г. посредством альтернативных мер, таких как мир с Гитлером, но не говорится прямым текстом, каким образом этого можно бы было добиться³⁸. Очевидно, эти историки воздержались от объяснения исторических альтернатив, которые подразумеваются в их книгах, не только из-за недостатков более ранних упражнений в гипотетической истории. Здесь замешано более серьезное недоверие к гипотетическому подходу – и это недоверие глубоко уходит корнями в философию истории.

Божественное вмешательство и предопределение

Триумф исторического детерминизма не был неизбежным. Как предположил Герберт Баттерфилд, представителям дописьменных культур мир, вероятно, казался совершенно недетерминистическим. В жизни господствовали силы природы – одни ритмичные и предсказуемые (сезоны), а другие объяснимые только влиянием сверхъестественных сил:

Всякий раз, когда причины казались несоответствующими результатам или когда светское объяснение казалось неадекватным, когда случайность

³⁴ *Ibid.* Pp. 81–122.

³⁵ *Ibid.* Pp. 123–156.

³⁶ *Ibid.* Pp. 1ff., 10f.

³⁷ Foster R. F. *Modern Ireland, 1600–1972*. Oxford, 1988.

³⁸ Charmley J. *Churchill: The End of Glory*. Dunton Green, 1993.

или любопытное стечение обстоятельств рождало нечто, противоречащее ожиданиям, когда внешние факторы, обычно не принимаемые в расчет... обуславливали неожиданный поворот нарратива – во всех этих случаях человек... полагал, что в дело вмешался [Бог]. Это обращение к божественному вмешательству для объяснения неожиданностей иллюстрирует важность непредвиденных обстоятельств в истории; невозможность на ранних стадиях развития разглядеть все связи между событиями; катаклизмический характер происходящего; тот факт, что великие следствия порой рождаются из маленьких причин; страхи, что люди живут в мире, устройство которого они не понимают; человеческое ощущение, что это история происходит с человеком, а не человек творит историю; ощущение зависимости, которое люди, без сомнения, испытывают, когда они не в силах понять или подчинить себе поведение природы, загадку природных явлений... все это приводит людей к мысли, что жизнь в существенной степени зависит от воли богов...³⁹

Божественная воля, таким образом, появилась в качестве объяснения последней надежды. Однако в политеистических религиях это часто сводилось к присвоению имен противоборствующим силам природы. Неудовлетворительный характер политеизма привел эпикурейцев к отрицанию всяческой божественной воли, что явилось, возможно, самым ранним проявлением философии антидетерминизма. Лукреций провозгласил существование бесконечной вселенной, состоящей из атомов, характеризующихся, по сути, случайной динамикой:

*Сами собою вещей семена в столкновеньях случайных,
Всячески втуне, вотще, понапрасну сходяся друг с другом,
Слились затем, наконец, в сочетанья такие, что сразу
Всяких великих вещей постоянно рождают зачатки...
Если как следует ты это понял, природа свободной
Сразу тебе предстает, лишенной хозяев надменных,
Собственной волею всё без участия богов создающей.
Ибо, – святые сердца небожителей, в мире спокойном
Жизнь проводящих свою и свой век безмятежно и ясно! –
Кто бы сумел управлять необъятной вселенной, кто твердо
Бездны тугие бразды удержал бы рукою искусной,
Кто бы размеренно вел небеса и огнями эфира
Был в состоянии везде согревать плодоносные земли
Иль одновременно быть повсюду во всякое время,
Чтобы и тучами тьму наводить, и чтоб ясное небо
Грома ударами бить, и чтоб молнии метать, и свои же
Храмы порой разносить, и, в пустынях сокрывшись, оттуда
Стрелы свирепо пускать, и, минуя нередко виновных,
Часто людей поражать, не достойных того и невинных?»⁴⁰*

Единственным отдаленно детерминистским элементом в воззрениях Лукреция была его примитивная теория энтропии: “всё дряхлеет и мало-помалу, / Жизни далеким путем истомленное, сходит в могилу”⁴¹.

³⁹ Butterfield H. *The Origins of History* / Ed. by Adam Watson. London, 1981. Pp. 200f.

⁴⁰ *Lucr.* De rerum natura 2.1059–1062, 1090–1104. Пер. Ф. Петровского.

⁴¹ *Lucr.* De rerum natura 2.1173–1174. Пер. Ф. Петровского.

В связи с этим становление идеи о верховном, целеустремленном сверхъестественном вершителе судеб шло медленно. Хорошую иллюстрацию классического представления о “Судьбе” в этой роли можно найти во “Всеобщей истории” Полибия (написанной во II в. н. э.):

Ибо необычайность событий, о которых мы намерены говорить, сама по себе способна привлечь каждого, стар ли он, или молод, к внимательному чтению нашего повествования (πραγματείας). ... Особенность нашей истории и достойная удивления черта нашего времени состоят в следующем: *почти все события мира судьба направила насильственно в одну сторону и подчинила их одной и той же цели*; согласно с этим и нам подобает представить читателям в едином обозрении те пути, какими судьба осуществила великое дело.... И в самом деле, изобретая много нового и непрестанно проявляя свою силу в жизни людей, судьба никогда еще по настоящее время не совершала ничего подобного и не давала такого свидетельства своей мощи⁴².

Предположение Полибия, что “превратности” Судьбы на самом деле имели цель – триумф Рима, – стало важным историографическим шагом к более детерминистскому представлению о божественной воле. Подобная концепция изложена и в работе Тацита, хотя там божественной целью называется разрушение Рима: “Беспрецедентные страдания Рима явились достаточным подтверждением, что боги... жаждут нас покарать”. Для Тацита, как и для Полибия, исход “внешнего течения событий”, которое “по большей части зависит от случая”, имеет “смысл и причины”⁴³.

Полибий упомянул и о другом сверхчеловеческом факторе – характерном для стоиков представлении о циклическом развитии истории, кульминационными моментами которой становятся периодические природные катастрофы:

Когда потоп, чума или неурожай... приводят к уничтожению значительной доли рода человеческого... все традиции и искусства в один миг исчезают, но с течением времени приходит новое поколение, рожденное от выживших в катастрофе, подобно тому как хлеб вырастает из семени в земле, и общественная жизнь возрождается⁴⁴.

То же представление о цикличности истории, само собой, можно обнаружить в ветхозаветной Книге Екклесиаста: “Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться”⁴⁵. Однако божественный замысел еврейского Бога был значительно сложнее замысла греко-римской Судьбы. В Ветхом Завете стремления Яхве излагаются в форме сложного исторического нарратива: сотворение мира, грехопадение, избрание Израиля, пророки, Вавилонское пленение и возвышение Рима. Новый Завет ранних христиан добавил к этому революционную концовку: вочеловечение, распятие и воскресение. Таким образом, еврейская и христианская история с самого начала характеризовались гораздо более детерминистской структурой, чем классическая историография: “Бог не просто направлял ход событий в мире, его вмешательство (и его глубинная цель) в представлении ранних христиан было *единственным, что придавало истории смысл*”⁴⁶. В работах Евсевия (ок. 300 г. н. э.) события и люди, как правило, изображаются либо прохристианскими, а потому угодными Богу, либо антихристианскими, а потому обреченными⁴⁷.

⁴² Polyb. 1.1–4. Пер. Ф. Мищенко. Курсив мой.

⁴³ Tac. Hist. 1.4. Пер. Г. Кнабе.

⁴⁴ Butterfield H. *The Origins of History*, ed. by Adam Watson. London, 1981. P. 125.

⁴⁵ Екклесиаст 1:9.

⁴⁶ Butterfield H. *The Origins of History*, ed. by Adam Watson. London, 1981. P. 207.

⁴⁷ Butterfield H. *The Origins of History*, ed. by Adam Watson. London, 1981. Pp. 176–80.

Однако не стоит преувеличивать детерминизм церковной истории. В сочинении Аврелия Августина «О граде Божьем» Бог не ангажирован в пользу христиан и не поощряет их, наказывая грешников, поскольку и праведники, и грешники были опорочены первородным грехом. Бог Августина всемогущ и всеведущ, но Он даровал человеку свободу воли, пускай эта воля и ослаблена первородным грехом, а следовательно, ангажирована в пользу зла. С теологической точки зрения, это ставит Августина между абсолютным манихейским фатализмом, отрицающим существование свободы воли, и пелагианским представлением, что свободная воля не может быть опорочена несовершенством первородного греха. С исторической точки зрения, это позволило ему совместить иудеохристианскую идею о предопределенном божественном замысле с относительно автономным представлением человеческой воли – что в существенной степени улучшило более ранние греческие и римские выкладки.

С практической точки зрения, это обеспечило относительно гибкий каркас для изложения христианской истории. И правда, практически та же гибкость наблюдается и более тысячелетия спустя в «Рассуждении о всеобщей истории» Боссюэ (1681). Как и у Августина, второстепенные причины имеют некоторую автономию, несмотря на центральную тему божественного замысла:

Длинная цепочка конкретных причин, которые рожают и убивают империи, зависит от декретов Божественного Провидения. Высоко в небесах Бог держит бразды правления всеми царствами. Все сердца в руках Его. Порой Он сдерживает страсти, *порой Он выпускает их на волю*, тем самым волнуя человечество. Таким способом Бог вершит свой грозный суд по непогрешимым законам. Именно Он творит грандиозные исходы посредством самых отчужденных причин, и Он наносит сокрушительные удары, эхо которых разносится столь широко. Именно так Бог правит всеми народами⁴⁸.

Само собой, прямую линию от Августина до Боссюэ не провести. В эпоху Возрождения, к примеру, произошло возвращение к оригинальной классической концепции отношений между божественным замыслом и человеческой свободой действий. В исторических работах Макиавелли *Судьба* выступает верховным судьей удела человека, но при этом она капризна и женственна и может поддаться чарам «добродетельного» мужа. В цикличной, по сути, модели «идеальной бесконечной истории» Вико (поделенной на божественный, героический и гражданский периоды, следующие друг за другом) роль Провидения, напротив, характерно августи́нская. Свободная воля представляет собой:

чертог всех добродетелей и среди прочих справедливости... Но из-за порочности своей природы люди пребывают в тисках тирании любви к себе, которая заставляет их ставить на первый план личное благо... Следовательно, лишь божественное провидение позволяет [человеку] соблюдать эти законы и отправлять правосудие как члену семьи, государства и человечества в целом.

«Новая наука» Вико была, таким образом, «рациональной гражданской теологией божественного провидения... своего рода демонстрацией исторического факта провидения, поскольку именно провидение – без человеческого помысла и намерения, а часто и вопреки всем планам человека – подарило величайшему роду человеческому различные формы порядка»⁴⁹. Можно провести параллель между подходом Вико и представлениями Арнольда Тойнби, определенно самого амбициозного из христианских историков двадцатого века, кото-

⁴⁸ Цит. по: Nagel E. *Determinism in History* // Dray W. (Ed.). *Philosophical Analysis and History*. New York/London, 1966. P. 380. Курсив мой.

⁴⁹ Vico G. *The New Science* // Gardiner P. (Ed.). *Theories of History*. Glencoe, Illinois/London, 1959. Pp. 18f.

рый твердо верил в “свободу воли”, несмотря на приверженность подобной – и в глазах некоторых критиков фундаментально детерминистической – циклической теории о возвышении и упадке того, что он называл “цивилизациями”⁵⁰.

Конечно, в рамках христианской теологии всегда существовала более детерминистическая тенденция (о которой прекрасно знал Августин). Раз Бог всеведущ, было вполне логично заключить, что Он уже определил, кого одарить своей благодатью. Однако это порождало проблему, которая впервые всплыла в дебатах о предопределении в девятом веке. Согласно Готшалку из Обре, если Бог предопределил, что одним уготовано спасение, он также должен был предопределить, что другим уготованы вечные муки; было логически неверно говорить, будто Христос погиб за вторую группу людей, поскольку в этом случае он погиб бы зря. Эта доктрина “двойного предопределения” сохранилась в учениях средневековых теологов, включая Григория из Римини и Уголино из Орвието, и снова всплыла в “Наставлении в христианской вере” Кальвина (хотя в статус основного принципа кальвинизма предопределение на самом деле возвели последователи Кальвина, такие как Теодор Беза). И все же не стоит и теперь приравнивать кальвинистское предопределение к историческому детерминизму. Для теологов дебаты о предопределении в основном касались загробной жизни и непосредственным образом не затрагивали события в мире людей.

Иными словами, представления о божественном вмешательстве в историю ограничились, но не искоренили идею о том, что люди имеют определенную свободу выбора между возможными вариантами действий. В этом отношении ни классическая, ни иудео-христианская теология не запрещали гипотетического анализа исторических вопросов, но представление о величайшем божественном замысле, само собой, не способствовало применению подобного анализа. Следовательно, если и существует связь между теологией и полномасштабным историческим детерминизмом, то она должна быть косвенной, опосредованной осознанно рационалистической философией восемнадцатого века. Это столетие часто ассоциируется с “секуляризацией” и упадком религии на фоне расцвета науки. Однако в историографии, как и в “Просвещении”, это разделение не столь четко, как кажется на первый взгляд. Существенная часть философии Просвещения, как заметил Баттерфилд, была лишь “деградировавшим христианством”, в котором “природа”, “разум” и другие туманные сущности просто заняли место Бога. Доктрины прогресса явно представляли собой секуляризованные адаптации христианской доктрины, но якобы построенные на эмпирической базе. Разница заключалась в том, что эти новые доктрины часто оказывались в своем детерминизме гораздо более ригидными, чем религии, от которых они произошли.

Научный детерминизм: материализм и идеализм

Ньютоновское “открытие” гравитации и трех законов механики ознаменовало рождение поистине детерминистического представления о вселенной. После Ньютона казалось очевидным (как выразился Юм), что “непреклонная судьба определяет свободу и направление движения любого объекта... Следовательно, действия материи следует считать вынужденными действиями”. Вопрос о том, считать ли эти законы божественно предопределенными или нет, был и остается вопросом семантики. Юм упомянул “непреклонную судьбу”, а Лейбниц выразился иначе: “Мир творится по расчетам Бога”. Важно, что наука исключила элемент случайности из физического мира. В частности, Лейбниц подчеркнул, что всем феноменам присущи “сложные атрибуты” – что все взаимосвязано, – и это утверждение подразумевало неизменный

⁵⁰ Geyl P. and Toynbee A. *Can We Know the Pattern of the Past? – A Debate* // Gardiner P. (Ed.). *Theories of History*. Glencoe, Illinois/London, 1959. Pp. 308ff. О работе А. Тойнби *A Study of History* см: Marwick A. *The Nature of History*. 3rd ed. London, 1989. Pp. 287f.

характер прошлого, настоящего и будущего (за исключением прошлого, настоящего и будущего в других, воображаемых мирах). Отсюда оставался короткий шаг до ригидного детерминизма Лапласа, в представлении которого вселенная могла “делать только одно”:

Стоит даровать ей на мгновение разум, который способен постичь все силы, движущие природой и относительным положением существ, ее населяющих, – разум достаточно мощный, чтобы подвергнуть эти данные анализу, – и она бы подчинилась одной формуле движения величайших тел во вселенной и легчайших атомов; для нее не было бы никакой неопределенности, а будущее, подобно прошлому, лежало бы у нее перед глазами⁵¹.

Единственным ограничением подобного рода детерминизма была упомянутая Декартом и другими философами возможность того, что мысль и материя представляют собой различные субстанции, причем только вторая из них подчиняется детерминистическим законам. Модифицированную версию этого разделения можно найти в работе современника Лапласа Биша, который настаивал, что детерминизм на практике применим лишь к неорганическим сущностям, в то время как органические сущности “противостоят любому расчету... в отношении их феноменов невозможно ничего предвидеть, предсказать или рассчитать”⁵². Однако подобную характеристику можно опровергнуть одним из двух способов.

Первый требует простого объяснения человеческого поведения с материалистической точки зрения. Такие попытки совершались и раньше. Гиппократ, к примеру, объяснил “недостаток духа и мужества, наблюдаемый в жителях Азии ...” “малой амплитудой колебания сезонных температур на этом континенте”. Кроме того, он упомянул “фактор институтов” – в частности, деструктивное влияние деспотического правления – в своем объяснении восточного малодушия⁵³. Именно такой тип объяснений подхватили и развили авторы Французского Просвещения, включая Кондорсе и Монтескье, который в работе “О духе законов” связал социальные, культурные и политические различия с климатическими и другими природными факторами. Монтескье дал характерное описание новообретенной уверенности в таких материалистических теориях: “Если конкретная причина вроде случайного исхода битвы разрушила государство, была и общая причина, которая обеспечила падение этого государства в результате единственной битвы”. Поскольку: “Слепой случай [не] рождает все те последствия, которые мы видим в мире”. В Британии основы строго экономического анализа общества заложило “Исследование о природе и причинах богатства народов” Адама Смита, которое подразумевало цикличность исторического процесса. Здесь тоже не “слепой случай”, а “невидимая рука” подталкивала людей к действию, заставляя их неосознанно работать на общее благо, даже преследуя собственные эгоистические интересы.

Подобный сдвиг в сторону детерминизма случился и в немецкой философии, но там он принял совершенно иную форму. Как и Декарт, Кант оставил в своей философии пространство для человеческой автономии, однако лишь в непостижимой параллельной вселенной “ноуменов”. Он настаивал, что в материальном мире “проявления воли в человеческих действиях определяются, как и все остальные внешние факты, универсальными законами природы”:

История, занимающаяся изучением этих проявлений, как бы глубоко ни были скрыты их причины, позволяет думать, что если бы она рассматривала игру свободы человеческой воли в совокупности, то могла бы открыть ее закономерный ход; и то, что представляется запутанным и не поддающимся

⁵¹ de Laplace P. S. *A Philosophical Essay on Probabilities* / Trans. by F. W. Truscott and F. L. Emory. New York, 1902. P. 4.

⁵² Hacking I. *The Taming of Chance*. Cambridge, 1990. P. 14.

⁵³ Butterfield H. *The Origins of History* / Ed. by Adam Watson. London, 1981. P. 135.

правилу у отдельных людей, можно было бы признать по отношению ко всему роду человеческому как неизменно поступательное, хотя и медленное, развитие его первичных задатков. ... Отдельные люди и даже целые народы мало думают о том, что когда они, каждый по-своему разумению и часто в ущерб другим, преследуют свои собственные цели, то они незаметно для самих себя идут к неведомой им цели природы как за путеводной нитью и содействуют достижению этой цели, которой, даже если бы она стала им известна, они бы мало интересовались⁵⁴.

В своей “Идее о всеобщей истории” Кант сформулировал задачу новой исторической философии: “Попытаться обнаружить *замысел природы*, стоящий за бессмысленным течением событий, и решить, возможно ли вообще изложить в соответствии с планом природы историю существ, которые действуют без всякого собственного плана”⁵⁵.

Более всего из немецких философов над этой проблемой задумывался Гегель. Для Гегеля, как и для Канта, “человеческая свобода воли и даже внешняя необходимость” должны были подчиняться “высшей необходимости”. “Единственная цель философских рассуждений, – написал он во втором черновике своих «Лекций по философии истории», – [заключается в том, чтобы] устранить случайности... В истории нам следует искать общий план, итоговую цель мира. Мы должны привнести в историю убеждение и уверенность, что в царстве воли нет места случайностям”. Однако “высшая необходимость” Гегеля была не материальной, а сверхъестественной – во многом она сильно напоминала традиционного христианского Бога, особенно когда Гегель говорил о “вечной справедливости и любви, абсолютной и конечной целью которой является истина как таковая”. Гегель просто называл своего Бога “разумом”. Именно поэтому его исходной “предпосылкой” была “идея, что разум правит миром, а история в связи с этим представляет собой рациональный процесс”:

Нам следует признать истинность утверждения, что мировая история управляется генеральным планом... рациональность которого представляет собой... божественный и абсолютный разум; доказательство этого заложено в изучении мировой истории, которая является образом и воплощением разума... Каждый, кто посмотрит на мир рационально, обнаружит, что в нем есть рациональный аспект... Общее содержание мировой истории рационально и должно быть рациональным; божественная воля господствует в мире и достаточно сильна, чтобы определять общее содержание истории. Нам следует задаться целью изучить эту субстанцию, и ради этого мы должны обратиться к собственному рациональному сознанию⁵⁶.

Эта в некотором роде заикленная аргументация представляла собой второй ответ на декартово утверждение, что детерминизм неприменим к нематериальному миру. Гегель не намеревался отдавать предпочтение материализму: “Дух и направление развития представляют собой истинную сущность истории”, – настаивал он, в то время как роль “физической природы” была подчеркнута второстепенной по отношению к роли “духа”. Однако “дух”, по утверждению Гегеля, был в той же мере подвержен действию детерминистических сил, как и физическая природа.

⁵⁴ Kant I. *Idea of a Universal History from a Cosmopolitan Point of View* (1784) // Gardiner P. (Ed.). *Theories of History*. Glencoe, Illinois/London, 1959. Pp. 22f., 29. См.: *Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане* // Кант И. *Сочинения в шести томах*. М., 1966. Т. 6. С. 5–23. Пер. П. А. Шапиро.

⁵⁵ Stanford M. *A Companion to the Study of History*. Oxford, 1994. P. 62.

⁵⁶ Hegel G. W. F. *Second Draft: The Philosophical History of the World* (1830) // Hegel G. W. F. *Lectures on the Philosophy of World History*. Cambridge, 1975. Pp. 26–30.

Что это были за силы? Гегель приравнивал то, что сам называл “духом”, к “идее о человеческой свободе”, тем самым утверждая, что исторический процесс можно понимать как приобретение этой идеей о свободе знаний о самой себе через последовательность “мировых духов”. Адаптируя сократовскую форму философского диалога, он постулировал наличие дихотомии в рамках национального духа (этот пример его особенно интересовал) – дихотомии принципиального и реального, общего и частного. Именно диалектические отношения между этими крайностями толкали историю вперед и вверх в своеобразном диалектическом вальсе – тезис, антитезис, синтез. Однако этот вальс – в лучших традициях Фреда Астера – танцевали, поднимаясь по лестнице. “Развитие, прогресс и восхождение духа к высшей форме самого себя... достигается обесцениванием, дроблением и разрушением предыдущего уклада реальности... Общее вырастает из частного и определенного и его отрицания... Все это автоматически встает по местам”.

Следствия модели Гегеля были во многом радикальнее следствий любой современной ему материалистической теории истории. В его схеме вещей, подталкиваемой противоречиями, в расчет не шли стремления и судьбы индивидов: они были “пустячным делом для мировой истории, которая использует индивидов только в качестве инструментов собственного развития”. Неважно, с какой несправедливостью сталкиваются индивиды, ведь “философия должна помочь нам понять, что реальный мир таков, каким он должен быть”. Ибо “действия людей в истории мира дают совсем не тот эффект, на который они сами рассчитывают”, а “ценность индивидов измеряется той степенью, в которой они отражают и представляют национальный дух”. В связи с этим “великими с точки зрения мировой истории становятся те индивиды... которые устремляются к высшей цели и делают ее своей”. Об этике вследствие этого не шло и речи: “Мировая история разворачивается на более высоком уровне, чем уровень существования этики”. И, само собой, “конкретным проявлением” “единства субъективной воли и общей цели” – “совокупностью этической жизни и реализации свободы” – был фетиш поколения Гегеля: (Прусское) государство⁵⁷.

Можно сказать, что такими аргументами Гегель секуляризовал предопределение и перевел теологический догмат Кальвина в сферу истории. Индивид теперь потерял контроль не только над своим спасением после смерти, но и над своей судьбой на земле. В этом отношении рассуждения Гегеля представляют собой кульминацию теологической тенденции к радикальному детерминизму: пожалуй, это вполне логичное заключение при условии признания существования верховного божества, но Августин и остальные приложили немало усилий, чтобы его урезонить. В то же время было заметно по меньшей мере поверхностное сходство между гегелевской идеалистической философией истории и материалистическими теориями, которые развивались повсеместно. Гегелевская “хитрость мирового разума” была, возможно, более строгим властителем, чем “природа” Канта и “невидимая рука” Смита, однако все эти квазибожества играли аналогичные роли.

Гегельянец, вероятно, скажет, что синтез идеалистического и материалистического подходов был неизбежен. Однако в момент смерти Гегеля этот синтез представлялся бы не более чем отдаленной возможностью. Пускай британские современники великого идеалиста и построили свои модели политической экономии на неявной религиозной основе (как утверждают Бойд Хилтон и другие), но внешне и осознанно они продолжили работать в соответствии с эмпирическими и математическими принципами. Более того, отличительной чертой политической экономии, развивавшейся в начале девятнадцатого века, был пессимизм, идущий вразрез с относительным оптимизмом Гегеля, который разделял представление Канта о прогрессивном характере истории. Экономические законы Рикардо о снижении доходности сельского хозяйства, тенденции к понижению нормы прибыли и железный закон заработ-

⁵⁷ *Ibid.* Pp. 33–141.

ной платы, а также принцип перенаселения Мальтуса представляли экономику саморегулирующейся, самоуравновешивающейся и этически карательной системой – системой, в которой за ростом неизбежно следуют стагнация и спад. В связи с этим британская политическая экономия приходила к логическому выводу о циклическом, а не прогрессивном характере истории.

Не было особенной близости и между гегелевской идеалистической моделью исторического процесса и различными материалистическими теориями, развивавшимися примерно в то же время во Франции. В “Курсе позитивной философии” Конта провозглашалось выявление очередного “великого фундаментального закона”: “Что три наших ведущих концепции – каждая из ветвей нашего знания – последовательно проходят через три различных теоретических состояния: теологическое, или мнимое; метафизическое, или абстрактное; и научное, или позитивное”⁵⁸. Тэн предложил другую “позитивистскую” триаду, в которую вошли среда, исторический момент и раса. Оба мыслителя гордились своими эмпирическими методами. Согласно Тэну, лучшим орудием историка следовало считать монографию: “Он погружает ее в прошлое, подобно ланцету, и извлекает обратно вместе с подлинными и исчерпывающими образцами. После двадцати-тридцати таких операций эпоху можно считать изученной”⁵⁹. Иными словами, ничто не предвещало синтеза британской политической экономии с гегелевской философией, которой суждено было стать самой успешной из детерминистических доктрин.

В ряду других философов истории, творивших в девятнадцатом веке, особняком стоял Маркс, которого не слишком волновала свобода воли, что, вероятно, и обусловило его успех. Когда Джон Стюарт Милль призвал “поистине научных мыслителей объединить теориями факты всеобщей истории” и выявить “производные законы общественного порядка и общественного развития”, он вторил Конту и жившему ранее Канту. И все же, как и многие другие либералы XIX века, Милль неосознанно боялся скатиться от детерминизма к фатализму. В конце концов, либералу было непросто отказаться от свободы воли, то есть роли личности. Милль предложил решить проблему путем “пересмотра доктрины каузальности, неверно называемой доктриной необходимости”, чтобы теперь подразумевалось, что “только действия людей представляют собой совокупный результат общих законов и обстоятельств человеческой природы и их собственных специфических характеров; причем эти характеры, в свою очередь, являются следствием естественных и искусственных обстоятельств, которые сопровождали их образование, *но и в этих обстоятельствах должны учитываться их сознательные усилия*”. Однако при ближайшем рассмотрении это оказалось очень важным заключением. Более того, в отрывке, где напрямую задавались гипотетические вопросы, Милль открыто признал, что “общие причины имеют большое значение, но индивиды тоже провоцируют великие изменения в истории”:

Совершенно точно – насколько точно вообще может быть условное суждение об исторических фактах, – что без Фемистокла не была бы одержана победа при Саламине, а без нее где бы была вся наша цивилизация? Как все сложилось бы, если бы в битве при Херонее командовал Эпаминонд, Тимолеонт или даже Ификрат, а не Харес и Лисикл?

Милль одобрил и два других гипотетических предположения: что без Цезаря “театр... европейской цивилизации, возможно... изменился бы”, а без Вильгельма Завоевателя “наша история или наш национальный характер не стали бы такими, какие они есть”. После этого

⁵⁸ Comte A. *The Positive Philosophy and the Study of Society* // Gardiner P. (Ed.). *Theories of History*. Glencoe, Illinois/London, 1959. P. 75.

⁵⁹ Цит. по: Berlin I. *The Concept of Scientific History* // Dray W. (Ed.). *Philosophical Analysis and History*. New York/London, 1966. P. 28.

его заключение, что “сознательные усилия” индивида на коллективном уровне и в длительной перспективе подчиняются “закону человеческой жизни”, звучало неубедительно:

Чем дольше живет наш род... тем больше влияние прошлых поколений на настоящие и человечества в целом на каждого составляющего его индивида доминирует над остальными силами... растущий перевес коллективной деятельности вида над всеми мелкими мотивами постоянно подталкивает общую эволюцию расы на путь, который в меньшей степени отклоняется от конкретного, заранее заданного маршрута⁶⁰.

Та же неуверенность заметна даже в работах Генри Томаса Бокля, который в своей “Истории цивилизации в Англии” (первый том опубликован в 1856 г.) словно бы ответил на данное Миллем описание “научной” истории. Здесь параллель с естественными науками была очевидна и несомненна:

В отношении природы были объяснены кажущиеся в высшей степени нерегулярными и непредсказуемыми события, которые, как выяснилось, происходят согласно определенным неизменным и универсальным законам... Если бы человеческие события были подвергнуты такому же анализу, мы вправе бы были ожидать подобных результатов... Каждое поколение демонстрирует регулярность и предсказуемость ряда событий, которые предыдущее поколение называло нерегулярными и непредсказуемыми: таким образом, развитие цивилизации демонстрирует тенденцию к усилению нашей веры в универсальность порядка, метода и закона.

Для Бокля изучение социальной статистики (объем которой только начал свой экспоненциальный рост, продолжающийся по сей день) должно было выявить “великую истину, что вся человеческая деятельность... на самом деле не беспорядочна, хотя и кажется таковой, но составляет определенную долю колоссальной системы всеобщего порядка... неуклонной регулярности духовного мира”⁶¹. И все же Бокль тоже беспокоился о свободе воли. Его модель каузальности, как и модель Милля, гласила, что “когда мы совершаем действие, мы совершаем его вследствие некоторого мотива или мотивов; эти мотивы представляют собой результаты некоторых предпосылок; а следовательно, если нам известны все предпосылки и все законы движения, мы можем с безукоризненной точностью предсказать все их непосредственные результаты”. Таким образом, “действия человека, которые определяются исключительно их предпосылками, должны иметь единообразный характер, иначе говоря, в точно таких же обстоятельствах они должны всегда давать точно такие же результаты”. Это было бы фатализмом чистой воды, если Бокль не добавил бы достаточно банальную оговорку: “Все изменения, которыми полнится история... должно быть, представляют собой плоды двойного действия; действия, которое оказывают внешние явления на разум, и другого действия, которое разум оказывает на явления”⁶².

Пожалуй, ни один писатель XIX века не бился над этой проблемой – противоречием между свободой воли и детерминистическими теориями истории – отчаяннее Толстого в заключительной главе “Войны и мира”⁶³. Толстой высмеял робкие попытки известных историков, мемуаристов и биографов, а также идеалистов-гегельянцев объяснить мировые потря-

⁶⁰ Mill J. S. *Elucidations of the Science of History* // Gardiner P. (Ed.). *Theories of History*. Glencoe, Illinois/London, 1959. Pp. 96–99, 104f.

⁶¹ Цит. по: Stern Fr. (Ed.). *The Varieties of History from Voltaire to the Present*. London, 1970. Pp. 121ff., 127–132.

⁶² Buckle H. T. *History and the Operation of Universal Laws* // Gardiner P. (Ed.). *Theories of History*. Glencoe, Illinois/London, 1959. Pp. 114f.

⁶³ Tolstoy L. *War and Peace*. Vol. II. London, 1978. Pp. 1400–1444.

сения 1789–1815 гг. и, в частности, французское вторжение в Россию и его итоговый провал – то есть исторический фон событий его великого романа. Роль божественного провидения, роль случая, роль ярких личностей, роль идей – все это он назвал недостаточным для объяснения масштабного движения миллионов людей, случившегося в наполеоновский период. В представлении Толстого “новая история должна бы была изучать не проявления власти, а причины, образующие ее... Если цель истории есть описание движения человечества и народов, то первый вопрос... следующий: какая сила движет народами?” Заимствуя терминологию Ньютона, он настаивал, что “единственное понятие, посредством которого может быть объяснено движение народов, есть понятие силы, равной всему движению народов”. Он отвергал юридические определения отношений между правителем и подчиненными, особенно если эти определения подразумевали договорное делегирование власти от последних к первому:

Всякое исполненное приказание есть всегда одно из огромного количества неисполненных. Все невозможные приказания не связываются с событием и не бывают исполнены. Только те, которые возможны, связываются в последовательные ряды приказаний, соответствующие рядам событий, и оказываются исполнены... Всякое совершившееся событие неизбежно совпадает с каким-нибудь выраженным желанием и, получая себе оправдание, представляется как произведение воли одного или нескольких людей... Что бы ни совершилось, всегда окажется, что это самое было предвидено и приказано... Исторические лица и их приказания находятся в зависимости от события... Лицо это тем менее принимает участие в действии, чем более оно выражает мнения, предположения и оправдания совершающегося совокупного действия... Те, которые принимают наибольшее прямое участие в событии, принимают на себя наименьшую ответственность; и наоборот.

Такая аргументация, похоже, завела его в своеобразный тупик: “В нравственном отношении причину события представляется власть; в физическом отношении – те, которые подчиняются власти. Но так как нравственная деятельность немыслима без физической, то причина события находится ни в той, ни в другой, а в соединении обеих. Или, другими словами, к явлению, которое мы рассматриваем, понятие причины неприменимо”. Однако этим Толстой лишь хотел сказать, что достиг своей цели и вывел закон социального движения, сравнимый с законами физики: “Электричество производит тепло, тепло производит электричество. Атомы притягиваются, атомы отталкиваются... Мы не можем сказать, почему это происходит, и говорим, что это так есть потому, что немыслимо иначе, потому что так должно быть, что это закон. То же самое относится и до исторических явлений. Почему происходит война или революция? мы не знаем; мы знаем только, что для совершения того или другого действия люди складываются в известное соединение и участвуют все; и мы говорим, что это так есть, потому что немыслимо иначе, что это закон”.

Само собой, недолгого размышления будет достаточно, чтобы разоблачить пустоту этого определения закона природы (которое гласит, что закон обуславливает сам себя, не поддаваясь нашему объяснению). Однако за этим следует еще более непостижимый пассаж, в котором Толстой обсуждает следствия этого “закона” для идеи о свободе воли индивида. Поскольку “если же есть хоть один закон, управляющий действиями людей, то не может быть свободной воли”. Таким образом, во имя детерминистической теории один из величайших писателей – чьи рассуждения о мотивации отдельных индивидов обуславливают несокрушимую мощь “Войны и мира” – решает опровергнуть существование свободы воли. Действительно ли он хотел сказать, что долгие мучения Пьера не сыграли никакой роли в его неизбежной судьбе? Похоже на то. Согласно Толстому, индивид в той же степени подчиняется толстовскому закону

власти, в какой он подчиняется ньютоновскому закону всемирного тяготения. Дело лишь в том, что человек, обладая иррациональным чувством свободы, отказывается признавать существование первого закона, признавая существование второго:

Узнав из опыта и рассуждения, что камень падает вниз, человек несомненно верит этому и во всех случаях ожидает исполнения узнанного им закона... Но узнав так же несомненно, что воля его подлежит законам, он не верит и не может верить этому... Если понятие о свободе для разума представляется бессмысленным противоречием... то это доказывает только то, что сознание не подлежит разуму.

Следствия этой двойственности для истории выражены в другом (гораздо более удовлетворительном в интеллектуальном отношении) толстовском законе: “В каждом рассматриваемом действии мы видим известную долю свободы и известную долю необходимости... Отношение свободы к необходимости уменьшается и увеличивается, смотря по той точке зрения, с которой рассматривается поступок; но отношение это всегда остается обратно пропорциональным”. Толстой заключает, что историк тем менее склонен признавать наличие свободы воли у объектов своего изучения, чем больше он знает об их “отношении к внешнему миру”, чем более давние времена он описывает и чем глубже его понимание “той бесконечной связи причин, составляющей неизбежное требование разума и в которой каждое понимаемое явление... должно иметь свое определенное место, как следствие для предыдущих и как причина для последующих”.

Интересно, что здесь Толстому приходится признать, что в исторических трудах “никогда не может быть полной необходимости”, поскольку “для того чтобы представить себе действие человека, подлежащее одному закону необходимости, без свободы, мы должны допустить знание *бесконечного* количества пространственных условий, *бесконечного* великого периода времени и *бесконечного* ряда причин”:

Свобода есть содержание. Необходимость есть форма... Все, что мы знаем о жизни людей, есть только известное отношение свободы к необходимости, то есть сознания к законам разума... Проявление силы свободы людей в пространстве, времени и зависимости от причин составляет предмет истории.

По сути, в этих строках нет ничего, что подразумевало бы строгий детерминизм. Однако далее он добавляет:

То, что известно нам, мы называем законами необходимости; то, что неизвестно, – свободой. Свобода для истории есть только выражение неизвестного остатка от того, что мы знаем о законах жизни человека... Для истории признание свободы людей как силы, способной влиять на исторические факты... есть то же, что для астрономии признание свободной силы движения небесных сил... Если существует один свободный поступок человека, то не существует ни одного исторического закона... Только ограничив эту свободу до бесконечности... мы убедимся в совершенной недоступности причин, и тогда вместо отыскания причин история поставит своей задачей отыскание законов... Трудность признания подчиненности личности законам пространства, времени и причин состоит в том, чтобы отказаться от непосредственного чувства независимости своей личности.

И все же совершенно непонятно, почему желательно ограничить осознаваемую историческими личностями свободу воли “до бесконечности” во имя детерминистических законов, которые ни один историк не в силах полностью постичь, не обладая стремящимся к бесконеч-

ности знанием. В целом, попытка Толстого сформулировать убедительную детерминистическую теорию истории обернулась грандиозным провалом.

Можно сказать, что лишь один человек преуспел в том, в чем потерпел неудачу Толстой (а с ним и многие другие). Теперь – когда она, очевидно, отжила свое – мы можем хотя бы поместить изложенную Марксом философию истории в надлежащий контекст, назвав ее наиболее убедительной из всех разновидностей детерминизма. Она явилась невероятно удачным синтезом гегелевского идеализма и политической экономии Рикардо: движущей силой диалектического исторического процесса в ней выступали не духовные противоречия, а материальные конфликты, в связи с чем (согласно “Немецкой идеологии”) “действительный процесс производства” заменил “мышление как таковое” в качестве “основы всей истории”. Прудон попытался высказать такую идею, Маркс же довел ее до совершенства, “поправив” Гегеля путем отказа от представления о поддерживаемой государством гармонии межклассовых отношений и разгромив Прудона в “Нищете философии”⁶⁴. “История всех существовавших до сих пор обществ, – провозгласил опубликованный в 1848 г. Манифест Коммунистической партии в одном из самых растиражированных лозунгов девятнадцатого века, – есть история классовой борьбы”. Просто и броско.

Маркс позаимствовал у Гегеля не только диалектику; он также усвоил его презрение к свободе воли: “Люди творят свою историю, но не знают, что они ее творят”. “В исторической борьбе необходимо отличать... лозунги и пристрастия сторон от их истинных... интересов, их представление о себе от реальности”. “В процессе общественного производства средств производства люди вступают в определенные и необходимые отношения, которые не зависят от их воли”. “Свободны ли люди выбирать для себя ту или иную форму общества? Ни в коем случае”. Однако за Гегелем виднеется и тень Кальвина, а также других пророков. Поскольку в доктрине Маркса определенные индивиды – представители обездоленного и отчужденного пролетариата – сформировали новый класс избранных, которому суждено было свергнуть капитализм и унаследовать мир. В виде пророчества поистине библейской важности это было предсказано в “Капитале”:

Монополия капитала становится оковами того способа производства, который появился и расцвел вместе с ней и под ней. Централизация средств производства и обобществление труда наконец достигают той точки, где они становятся несовместимы со своей капиталистической оболочкой. Эта оболочка разрывается. Колокол звонит по капиталистической частной собственности. Экспроприаторов экспроприруют⁶⁵.

Нужно признать, что Маркс и Энгельс не всегда были столь категоричны, как большинство их последующих толкователей. Поскольку их более пессимистичные политические предсказания не воплощались в жизнь, им действительно приходилось время от времени смягчать детерминизм своих самых известных трудов. Сам Маркс признавал, что “ускорение и замедление» «общей тенденции развития» может зависеть от «случайностей», в число которых входит и «случайный» характер... индивидов”⁶⁶. Энгельсу тоже пришлось признать, что “история часто движется скачками и зигзагами”, что может неудачным образом приводить к возникновению “значительных препятствий в ходе рассуждений”⁶⁷. В своей последующей корреспонден-

⁶⁴ См.: Rader M. *Marx's Interpretation of History*. Oxford, 1979.

⁶⁵ Маркс К. *Kanumal*. Т. I. Гл. 32.

⁶⁶ Carr E. H. *What Is History?* 2nd ed. London, 1987. P. 101.

⁶⁷ Abrams P. *History, Sociology, Historical Sociology* // *Past and Present* 87 (1980). P. 15. См. также: Rader M. *Marx's Interpretation of History*. Oxford, 1979. Pp. 4, 8f.; E. P. Thompson. *The Poverty of Theory* // E. P. Thompson (Ed.). *The Poverty of Theory and Other Essays*. London, 1978. P. 307.

денции он пытался (как оказалось, тщетно) обосновать идею о простой причинно-следственной связи между экономическим “базисом” и социальной “надстройкой”.

Именно эта проблема занимала русского марксиста Георгия Плеханова. В своем эссе “К вопросу о роли личности в истории” он приводит гораздо больше аргументов против марксистского социально-экономического детерминизма, чем в его поддержку, хотя и пытается выплыть из моря более или менее убедительных примеров, в которых решающую роль сыграла именно личность. Если бы Людовик XV был человеком другого склада, признает Плеханов, территория Франции могла бы быть расширена (после войны за австрийское наследство), а экономическое и политическое развитие страны в результате могло пойти по другому пути. Если бы мадам Помпадур не оказывала столь сильного влияния на Людовика, возможно, некомпетентного Субиза не оставили бы главнокомандующим и война на море сложилась бы удачнее. Если бы в августе 1761 г. – всего за несколько месяцев до смерти императрицы Елизаветы Петровны – генерал Бутурлин атаковал Фридриха Великого в Штригау, возможно, он вынудил бы его спасаться бегством. А что, если бы Мирабо выжил или если бы Робеспьер случайно погиб? Что, если бы Бонапарт погиб в одной из своих ранних кампаний? Попытка Плеханова впихнуть все эти случайности и гипотезы обратно в смиренную рубашку марксистского детерминизма, мягко говоря, трещит по швам:

[Индивид] служит одним из орудий... необходимости и не может не служить им как по своему общественному положению, так и по своему умственному и нравственному характеру, созданному этим положением. Это тоже сторона необходимости. Но раз его общественное положение выработало у него именно этот, а не другой характер, он не только служит орудием необходимости и не только не может не служить, но и страстно хочет и не может не хотеть служить. Это – сторона свободы и притом свободы, выросшей из необходимости, т. е., вернее сказать, это – свобода, отождествившаяся с необходимостью, это – необходимость, преобразившаяся в свободу.

Таким образом, “характер личности является «фактором» общественного развития лишь там, лишь тогда и лишь постольку, где, когда и поскольку ей позволяют это общественные отношения”. “Всякий талант, ставший общественной силой, есть плод общественных отношений”. Плеханов даже предвосхищает последующее утверждение Бьюри, что исторические случайности представляют собой продукт столкновения цепочек детерминистической каузальности, однако делает из этого гораздо более детерминистические выводы: “В какие бы замысловатые сплетения ни соединялись, мелкие психологические и физиологические причины, они ни в каком случае не устранили бы великих общественных нужд, вызвавших французскую революцию”. Даже если бы Мирабо прожил дольше, Робеспьер скончался бы ранее, а Бонапарта сразила бы случайная пуля,

события все-таки пошли бы в том самом направлении... Окончательный исход революционного движения все-таки ни в каком случае не был бы “противоположен” действительному исходу. Влиятельные личности благодаря особенностям своего ума и характера могут изменять индивидуальную физиономию событий и некоторые частные их последствия, но они не могут изменить их общее направление, которое определяется другими силами... [поскольку] они сами существуют только благодаря такому направлению; если бы не оно, то они никогда не перешагнули бы порога, отделяющего возможность от действительности⁶⁸.

⁶⁸ Plekhanov G. *The Role of the Individual in History* // Gardiner P. (Ed.). *Theories of History*. Glencoe, Illinois/London, 1959.

Плеханов не говорит, каким именно образом “развитие производительных сил и определяемые им взаимные отношения людей в общественно-экономическом процессе производства” могли бы нейтрализовать эффект австро-русской победы над Фридрихом Великим. Он не рассматривает и возможные последствия одного из предложенных им гипотетических исходов существования Франции без Наполеона: “Луи-Филипп сел бы на трон своих нежно любимых родственников не в 1830, а в 1820 г.”. Неужели это действительно не повлекло бы за собой никаких последствий, как подразумевает Плеханов?

Однако, как только марксистов начали одолевать сомнения, прорыв в иной сфере науки предоставил им новый жизненно необходимый инструмент обоснования их модели общественных сдвигов. Дарвиновское революционное заявление о теории естественного отбора было тотчас использовано Энгельсом в качестве новейшего доказательства теории классового конфликта⁶⁹ – хотя незадолго до этого то же самое сказали и теоретики расового конфликта, которые неправильно истолковали и исказили сложное (и порой противоречивое) послание Дарвина. Писатели вроде Томаса Генри Гексли и Эрнста Геккеля взяли более ранние расовые теории Гобино и модернизировали их, используя упрощенную модель естественного отбора, в которой конкуренция между отдельными организмами превратилась в грубое соперничество рас. На рубеже веков такие воззрения стали весьма типичны для большей части политических дебатов. В отсутствие какой-либо партийно-политической дисциплины, которая в некотором роде сдерживала социалистическое интеллектуальное развитие, “социальный дарвинизм” быстро начал принимать различные формы, выливаясь в псевдонаучные рассуждения теоретиков евгеники, самоуверенный империализм английского историка Эдуарда Фримена, веймарский пессимизм Шпенглера и в итоге, конечно же, в жестокие, антисемитские фантазии Гитлера, объединившие расизм и социализм в самую взрывоопасную идеологию двадцатого века. Но все эти теории объединял детерминистический (а в некоторых случаях и апокалиптический) вектор, а также безразличие к концепции свободы воли человека. Учитывая явное совпадение учений Маркса и Дарвина – пускай их интеллектуальные основы и были в высшей степени различны, – не стоит удивляться, что при жизни мыслителей и после их смерти столь широко распространилось представление о возможности существования детерминистических законов истории.

Стоит отметить, что не каждый в девятнадцатом веке принимал детерминизм. Работы Ранке и его последователей показали, что историки могут извлечь из мира науки совсем другие уроки. Ранке с недоверием относился к стремлению историков и философов прошлого соткать универсальные исторические законы из воздуха (или в лучшем случае позаимствовать их из трудов других историков и философов). Он полагал, что надежду понять универсум истории дают лишь поистине научные *методы* – то есть тщательное и доскональное изучение архивов. Именно поэтому он с самого начала призывал писать историю *wie es eigentlich gewesen war* (“такой, какой она на самом деле была”) и не раз подчеркивал уникальность событий прошлого и ушедших эпох. Ранке часто называют основателем школы “историзма”, которая призывала к анализу конкретных феноменов в соответствующем контексте. И все же это не предполагало полного отказа от детерминизма, поскольку в ряде важных аспектов Ранке оставался верен гегелевской философии. Возможно, в методологическом отношении направление его рассуждений и повернулось вспять – он двигался от частного к общему, а не наоборот, – но природа и функция универсума в трудах Ранке осталась однозначно гегелевской, как и склонность к возвышению прусского государства. Важнее всего, что идея, что историк должен описы-

Рр. 144–163. См.: *К вопросу о роли личности в истории* // Плеханов Г. В. *Избранные философские произведения в 5-ти тт.* Т. 2. М., 1956. С. 300–334.

⁶⁹ Stanford M. *A Companion to the Study of History*. Oxford, 1994. P. 284. Подобную аллюзию на Дарвина в исполнении Троцкого см. в работе: Carr E. H. *What Is History?* 2nd ed. London, 1987. P. 102: “На языке биологии можно сказать, что исторический закон исполняется посредством естественного отбора случайностей”.

вать прошлое таким, каким оно на самом деле было (или хотя бы каким оно было “по сути”), косвенным образом исключила возможность сколько-нибудь серьезного размышления о том, как *могло бы* быть. Подобно Гегелю, Ранке полагал, что история следует некому духовному плану. Может, у него и не было гегелевской уверенности относительно природы этого плана, но он не сомневался в его существовании – и конечной целью этого плана считал самосозидание прусского государства.

Даже те историки, которые принесли методологию Ранке в Англию, исключив из нее весь гегельянский подтекст, подчас основывали свои рассуждения на аналогичной телеологии. Вместо Пруссии Стаббс описывал ту самую английскую органическую эволюцию на пути к совершенству, которая обычно ассоциируется с трудами менее эрудированного Маколея⁷⁰. Другой английский последователь Ранке, Актон, применил подобную концепцию к истории всей Европы. Подобно французским позитивистам, либеральные историки рубежа веков гордились тем, что их научные методы не только дают практические политические “уроки”, но и демонстрируют тот универсальный процесс “совершенствования”, который ранее так занимал Лекки. Более того, Актон считал саму историческую науку одним из двигателей, который помог Европе выбраться из средневековой тьмы, и это мнение он выразил поразительно германским языком: “*Всеобщий дух исследований и открытий... никуда не исчезал и выдерживал постоянный натиск реакционизма, пока ... наконец не возобладал. Этот... постепенный переход... от подчинения к независимости представляет собой феномен первостепенной важности, поскольку историческая наука была одним из его орудий*”⁷¹. Следовательно, историк не только описывал неизбежный триумф прогресса, но и вносил свой вклад в этот прогресс посредством его описания. Намеки на подобный оптимизм можно обнаружить и в более поздних работах других либеральных историков, включая сэра Джона Пламба⁷² и сэра Майкла Ховарда⁷³.

Непредсказуемость, случайность и бунт против каузальности

Само собой, столь прогрессивный оптимизм, будь он вдохновлен хоть идеализмом, хоть материализмом, не мог остаться без оппонентов. В ярком и по праву знаменитом отрывке своего эссе “К вопросу об истории” Томас Карлейль провозгласил:

Наиболее одаренный человек может наблюдать и тем более записывать только *цепочку* собственных впечатлений; следовательно, его наблюдения... должны быть *последовательными*, в то время как события зачастую происходят одновременно... Это не столько действительная, сколько записанная история: на самом деле связь событий не столь проста, как связь родителя и ребенка, ибо всякое событие есть результат не одного, а всех остальных событий, прошлых или единовременных, и оно, в свою очередь, объединяется со всеми остальными событиями, чтобы породить новое; в этом и заключается непреходящий, неутомимый Хаос Бытия, где форма за формой рождается из бесчисленного множества элементов. И этот Хаос... историку надлежит описать и научно проанализировать, можно сказать, пронизав его отдельными нитями в несколько элей длиной! Действие как таковое нам следует изучать как разросшееся в ширину и в глубину, а не только

⁷⁰ Butterfield H. *The Whig Interpretation of History*. London, 1931.

⁷¹ Lord Acton. *Inaugural Lecture on the Study of History* // McNeill W. H. (Ed.). *Essays in the Liberal Interpretation of History*. Chicago, 1967. P. 300–359. Курсив мой.

⁷² Plumb J. H. *The Death of the Past*. London, 1969, в особенности pp. 17, 77f., 97–100, 129f.

⁷³ См. особенно: Howard M. *The Lessons of History* // Howard M. *The Lessons of History*. Oxford, 1991. P. 6–20.

в длину... поэтому весь нарратив, по природе своей, одномерен... Нарратив *линеен*, действие *трехмерно*. Как ничтожны наши “цепи” и цепочки “причин и следствий”... когда целое безмерно широко и глубоко, а каждый атом “связан в цепь” и соединен со всеми остальными!⁷⁴

Еще более бескомпромиссное описание этого антинаучного подхода дал русский визави Карлейля, Достоевский. В “Записках из подполья” Достоевский с резкой критикой обрушился на рационалистический детерминизм и презрительно прошелся по убеждению экономистов, будто человек действует в собственных интересах, по цивилизационной теории Бокля и по законам истории Толстого:

Вы уверены, что тогда человек и сам перестанет *добровольно* ошибаться... что... на свете есть еще законы природы; так что все, что он ни делает, делается вовсе не по его хотенью... Все поступки человеческие, само собою, будут расчислены тогда по этим законам, математически, вроде таблицы логарифмов, до 108 000, и занесены в календарь... Все будет так точно исчислено и обозначено... Никак нельзя гарантировать... что тогда не будет, например, ужасно скучно... Конечно, от скуки чего не выдумаешь! Оттого, что человек, всегда и везде... любил действовать так, как хотел, а вовсе не так, как повелевали ему разум и выгода... Свое собственное, вольное и свободное хотенье, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная иногда хоть бы даже до сумасшествия, – вот это-то все и есть та самая, пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни под какую классификацию не подходит... Человек может нарочно, сознательно пожелать себе даже вредного, глупого, даже глупейшего... чтоб *иметь право* пожелать себе даже и глупейшего.

В отношении истории это исключает идею прогресса. История может быть “великой” и “яркой”, но для “больного” альтер эго Достоевского она, по сути, остается однообразной: “Дерутся да дерутся, и теперь дерутся, и прежде дрались, и после дрались... Одним словом, все можно сказать о всемирной истории... Одного только нельзя сказать, – что благоразумно”⁷⁵.

И все же даже Достоевский не подкрепил эту аргументацию в своих величайших сочинениях. В других своих произведениях (пожалуй, наиболее очевидно в “Братьях Карамазовых”) он вернулся к религиозной вере, словно одно лишь православие могло защитить общество от чумы анархии, которую он предсказал в кошмаре Раскольникова в самом конце “Преступления и наказания”. Само собой, мысль Карлейля тоже пошла в подобном направлении, однако при ближайшем рассмотрении его представление о божественной воле было гораздо ближе к позиции Гегеля (а возможно, и Кальвина), чем к православию Достоевского. Вторя Гегелю (хоть и изменяя его мысль), Карлейль считал “всеобщую историю” “по существу, историей великих личностей”: “Все, что было достигнуто в мире, есть внешний материальный результат ... мышления великих личностей, отправленных в этот мир; душа истории всего мира ... есть история этих ... живых фонтанов света ... этих естественных светил, сияющих даром небес”⁷⁶. Вряд ли это можно было назвать шагом к антидетерминистической философии истории. Напротив, Карлейль просто отверг новый тип научного детерминизма ради старого божественного варианта:

⁷⁴ Carlyle Th. *On History* (1830) // Stern Fr. (Ed.). *The Varieties of History from Voltaire to the Present*. London, 1970. P. 95.

⁷⁵ Достоевский Ф. М. *Записки из подполья*. Подполье. Гл. VII. Dostoevsky F. *Notes from Underground* / Trans. by A. R. MacAndrew. London, 1980. _Pp. 105–120.

⁷⁶ Цит. по: Stern Fr. (Ed.). *The Varieties of History from Voltaire to the Present*. London, 1970. P. 101.

История... смотрит и в прошлое, и в будущее, поскольку грядущая эпоха уже ожидает, невидимая, но вполне сформированная, *заранее определенная и неизбежная*, пока царит эпоха другая, и только комбинация их обеих полностью раскрывает значение каждой... [Человек] живет на стыке двух вечностей и... охотно вступает в сознательную связь... со всем будущим и всем прошлым⁷⁷.

На самом деле решительную – пускай и довольно примитивную – критику детерминистических воззрений, включая даже атаквистический кальвинизм Карлейля, мы встречаем лишь на рубеже веков, в работах ряда английских историков, среди которых Бьюри, Фишер и Тревельян. Насмешливый акцент на роли непредвиденных обстоятельств, характерный для оксбриджской историографии рубежа веков, пожалуй, в наибольшей степени был обусловлен антикальвинизмом⁷⁸. Бьюри и Фишер предложили положить в основу новой исторической философии то, что Чарльз Кингсли назвал “таинственной способностью [человека] нарушать законы собственного бытия”. В предисловии к “Истории Европы” Фишер сказал прямо:

Люди умнее и образованнее меня выявили в истории сюжет, и ритм, и заранее определенный рисунок. Мне не дано постичь этих гармоний. Я вижу лишь одну чрезвычайную ситуацию, которая следует за другой, подобно тому как следуют друг за другом волны... [П]рогресс нельзя считать законом природы⁷⁹.

В связи с этим Фишер призывал историков “распознавать в развитии человеческих судеб игру случайностей и непредвиденных обстоятельств” (при этом спорно, следовал ли он собственному совету в основной массе своих работ). Бьюри пошел дальше. В своем эссе “Нос Клеопатры” он разработал полноправную теорию о роли “случайности” – которую он определял как “значимое столкновение двух или более независимых цепочек причинно-следственной связи”, – сославшись на целый ряд важных, но непредвиденных исторических событий, включая и якобы вызванные вынесенным в заглавие носом. Фактически это была попытка примирить детерминизм с непредсказуемостью: согласно несколько обескураживающей формулировке Бьюри, “элемент случайного совпадения... помогает определить события”⁸⁰. И все же ни Бьюри, ни Фишер не сделали следующего шага к подробному изучению альтернативных путей исторического развития, хотя цепочки первого и волны второго вполне могли бы столкнуться в других точках, что привело бы к другим последствиям. Бьюри обосновал свою позицию, предположив, что “с течением времени случайности... начинают играть все меньшую роль в человеческой эволюции”, поскольку власть человека над природой растет, а демократические институты ограничивают волю отдельных государственных деятелей. Это подозрительно напоминало рассуждения Милля и Толстого об упадке свободы воли.

В своем эссе “Клио: муза” Тревельян пошел еще дальше и назвал “науку о причинах и следствиях в человеческих делах” “неверным применением аналогии физической науки”. Историк может “делать общие выводы и выдвигать предположения относительно причин и следствий”, однако его главная задача заключается в том, чтобы “рассказать историю”: “Несомненно... деяния [солдат Кромвеля] оказали определенное влияние, став одной из тысяч беспорядочных волн, которые подталкивают движение мира. Однако... их итоговый успех или

⁷⁷ Ibid. P. 91. Курсив мой.

⁷⁸ Эти легкомысленные настроения нашли отражение в сочиненном в 1905 г. лимерике Мориса Юэна Хэйра: Как-то раз человек вскрикнул: “Ай! Все предписано, как ни играй! Я иду по путям, По кривым колеям, Не автобус, а только трамвай!”

⁷⁹ Fisher H. A. L. *A History of Europe*. London, 1936. P. v.

⁸⁰ См.: Bury J. B. *Cleopatra's Nose* // Bury J. B. *Selected Essays* / Ed. by H. W. V. Temperley. Cambridge, 1930. Pp. 60–69.

провал... во многом определялся непрогнозируемой случайностью". По мнению Тревельяна, классической иллюстрацией этого служили поля сражений:

Случай выбрал это поле из многих других... чтобы повернуть ход войны и решить судьбу народов и верований... Но из-за смелости какого-то храброго солдата или удачного наступления на очередную деревню гиблое дело отныне будут называть "волной неизбежности", которую ничто не могло обратить вспять⁸¹.

В следующем поколении этот подход вдохновил существенную часть трудов другого великого историка А. Дж. П. Тейлора, который не переставал подчеркивать роль случайностей ("оплошностей" и "банальностей") в дипломатической истории. Хотя Тейлор ясно давал понять, что "в задачу историка не входят рассуждения о том, как следовало поступить",⁸² он все равно с удовольствием намекал, как все *могло бы* сложиться.

Нельзя сказать, что этот упор на непредсказуемый характер некоторых, если не всех, исторических событий был уникален для британцев. Более поздние немецкие историки, включая Дройзена, считали задачей исторической философии "выявить не законы объективной истории, а законы исторического познания". В гораздо большей степени, чем Ранке, Дройзен был озабочен ролью "аномалий, свободы воли человека, ответственности, гения... деяниями и следствиями человеческой свободы и особенностей личности"⁸³. Эти рассуждения развил Вильгельм Дильтей, которого можно считать основоположником не только исторической теории относительности, но и ее принципа неопределенности⁸⁴. Углубляя историзм, Фридрих Мейнеке выделил несколько уровней каузальности, от детерминистических "механических" факторов до "спонтанных деяний человека"⁸⁵. Это разделение на уровни он применил и на практике, особенно явно в своей последней книге "Немецкая катастрофа", где подчеркивались не только "общие" причины возникновения национал-социализма (катастрофического гегелевского синтеза двух великих идей), но и случайные факторы, которые привели Гитлера к власти в 1933 г.⁸⁶

И все же существовали важные интеллектуальные ограничения, которые не позволяли полностью отказаться от детерминизма XIX века. В британском контексте очень важны были труды двух английских философов истории – Коллингвуда и Оукшотта, новых идеалистов, сочинения которых были во многом основаны на работе Брэдли "Предпосылки критической истории". Коллингвуд известен своей критикой простого, позитивистского представления об историческом факте. С его точки зрения, все исторические свидетельства были лишь отражением "мысли": "Историческая мысль есть... мысленное представление о мире полудостоверных фактов"⁸⁷. Следовательно, историк в лучшем случае мог "восстановить" или "заново проиграть" мысли прошлого, испытывая при этом неизбежное влияние собственного уникального опыта. Неудивительно, что Коллингвуд отвергал детерминистические модели каузальности: "Выявляемый в истории план не предвосхищается в собственном откровении; история – это драма, но драма импровизируемая, совместно импровизируемая всеми действующими

⁸¹ Trevelyan G. M. *Clio, a Muse and Other Essays*. London, 1930. Pp. 140–176, особенно pp. 157f.

⁸² Taylor A. J. P. *The Origins of the Second World War*. 2nd ed. London, 1963.

⁸³ Цит. по: Stern Fr. (Ed.). *The Varieties of History from Voltaire to the Present*. London, 1970. P. 142.

⁸⁴ Дильтей подчеркивал не только "относительность всевозможных человеческих представлений о взаимосвязи вещей", но и неизбежное субъективное построение всех исторических свидетельств. См.: Ermarth M. *Wilhelm Dilthey: The Critique of Historical Reason*. Chicago, 1978.

⁸⁵ Meinecke Fr. *Causalities and Values in History* // Stern Fr. (Ed.). *The Varieties of History from Voltaire to the Present*. London, 1970. Особенно pp. 269, 273.

⁸⁶ Meinecke Fr. *Die deutsche Katastrophe*. Wiesbaden, 1949.

⁸⁷ Collingwood R. G. *The Nature and Aims of a Philosophy of History (1924–1925)* // *Essays in the Philosophy of History*: R. G. Collingwood / Ed. by W. Debbins. Austin, Texas, 1965. P. 44.

лицами”⁸⁸. В отличие от сюжета романа “сюжет истории” представлял собой лишь “набор случайностей, которые признавались особенно значительными”⁸⁹. Историки отличались от писателей, поскольку они стремились к созданию “истинных” нарративов, хотя нарратив каждого историка был не более чем “промежуточным отчетом о ходе наших исторических изысканий”⁹⁰.

Особенно любопытны размышления Коллингвуда о природе времени, в которых он предвосхитил некоторые положения современной физики:

Время, как правило... представляется нам в форме метафоры, как поток или нечто пребывающее в постоянном и монотонном движении... [Однако] метафора потока ничего не значит, если у этого потока нет берегов... События будущего не ждут своей очереди осуществиться, подобно тому как люди в театре стоят в очереди в кассу: они вообще еще не существуют, а следовательно, не могут быть выстроены ни в каком порядке. Реально лишь настоящее; прошлое и будущее идеальны и только идеальны. Необходимо настаивать на этом, поскольку наша привычка придавать времени пространственную форму или воплощать его в пространстве, ведет к представлению, что прошлое и будущее в равной степени реальны... то есть, когда мы проходим по Хай-стрит мимо Куинз-колледжа, существуют также Магдален-колледж и Колледж Всех Душ.

И все же Коллингвуд пришел к выводу, что единственная цель историка заключается в “познании настоящего” и, в частности, “как все сложилось именно так, как есть”: “Настоящее реально, прошлое необходимо, будущее возможно”. “Вся история представляет собой попытку понять настоящее, воссоздавая условия, которые его определили”⁹¹. В этом отношении он просто признал поражение: история не могла не носить телеологического характера, поскольку историки были в состоянии писать только со своей наблюдательной позиции, под действием предрассудков собственного настоящего. Единственной возможной отправной точкой служил текущий момент. Это был новый, гораздо менее основательный тип детерминизма, однако и он исключал любое обсуждение гипотетических альтернатив.

Само собой, можно было отказаться от самого представления о существовании “определяющих условий” настоящего – для этого нужно было отказаться от каузальности как таковой. В межвоенный период этим увлеклись идеалисты и приверженцы лингвистической философии. Людвиг Витгенштейн просто отрицал “представление о существовании причинно-следственной связи” как “суеверие”. Бертран Рассел соглашался: “Закон каузальности... есть пережиток ушедшей эпохи, который, подобно монархии, выжил потому лишь, что его ошибочно считают безобидным”⁹². Согласился с этим и Кроче, который считал “концепцию причины” абсолютно “чуждой истории”⁹³.

На первый взгляд это кажется глубоко антидетерминистическим утверждением. Тем не менее, как видно из предложенного Оукшоттом основательного описания идеалистической позиции, оно исключало гипотетический анализ столь же категорично, как и любая детерминистическая теория:

⁸⁸ Collingwood R. G. *Lectures on the Philosophy of History*, 1926 // *The Idea of History: With Lectures 1926–1928* / Ed. by J. van der Dussen. Oxford, 1993. Pp. 400ff.

⁸⁹ Collingwood R. G. *The Nature and Aims of a Philosophy of History* (1924–1925) // *Essays in the Philosophy of History: R. G. Collingwood* / Ed. by W. Debbins. Austin, Texas, 1965. P. 36f., 39f.

⁹⁰ Collingwood R. G. *Lectures on the Philosophy of History*, 1926 // *The Idea of History: With Lectures 1926–1928* / Ed. by J. van der Dussen. Oxford, 1993. Pp. 390f.

⁹¹ *Ibid.* Pp. 363f., 412f., 420. Cp.: Marwick A. *The Nature of History*. 3rd ed. London, 1989. Pp. 293ff.

⁹² Цит. по: Fischer D. H. *Historians' Fallacies: Toward a Logic of Historical Thought*. London, 1970. Pp. 164f.

⁹³ Croce B. ‘Necessity’ in History, in *Philosophy, Poetry, History: An Anthology of Essays* / Trans. by C. Sprigge. London/New York/Toronto, 1966. P. 558.

[М]ы оставляем исторический опыт всякий раз, когда... вычленим момент из исторического мира и рассматриваем его в качестве причины всего остального или хотя бы отдельной его части. Таким образом, каждое историческое событие необходимо, а ранжировать важность различных необходимостей не представляется возможным. Нет события, которое не имело бы значения и не вносило бы свой вклад. Если считать единичное, с натяжкой выделенное из общей массы событие (поскольку ни одно историческое событие не может быть надежно выделено из своей среды) определяющим, то есть служащим причиной и дающим объяснение, то весь последующий ход событий не становится... плохой или сомнительной историей, а перестает быть историей вообще... Это запрещают исходные предпосылки исторической мысли... Нет причины считать весь ход событий следствием одного предшествующего события, а не другого... Строгое представление о причинах и следствиях представляется... нерелевантным в исторической науке... Концепция причины... заменяется описанием мира косвенно связанных друг с другом событий, в котором нет места *лакунам*.

Хотя в этом и можно найти определенную философскую логику, на практике все выглядит гораздо менее удовлетворительно. Как выразился Оукшотт, “исторические сдвиги несут в себе собственное объяснение”:

Ход событий един, он так полон и целостен, что нет необходимости искать никакие внешние причины или поводы... Единство и непрерывность истории... есть... единственный принцип объяснения, согласующийся с остальными постулатами исторического опыта... Взаимосвязь *между* событиями всегда выливается в другие события и выявляется в истории путем подробного описания этих событий.

Таким образом, единственный метод, которым историк может улучшить описание события, заключается в предоставлении “большого числа подробностей”⁹⁴.

Как поясняет Оукшотт, это не рецепт “тотальной истории”. Необходимо отделять “значимые взаимосвязи” от “случайных”, поскольку “исторические изыскания как попытка выстроить... последовательность значимо взаимосвязанных событий в ответ на исторический вопрос не предполагают возможности учитывать все незначительные связи”⁹⁵. Но что же делает событие “значимым”? Здесь Оукшотт отвечает расплывчато, утверждая, что ответ историка на заданный вопрос должен подчиняться определенной внутренней логике. Цель состоит в том, чтобы “составить ответ на исторический вопрос, выстроив течение прошлого в качестве цепочки взаимосвязанных событий, сведения о которых до нас не дошли, путем выяснения прошлого дошедших до нас артефактов и высказываний”⁹⁶. Казалось бы, здесь напрашивается структура нарратива, предложенная Коллингвудом, однако на самом деле для этой цели подходит любая четкая структура.

Идеалистическая критика детерминизма девятнадцатого века оказала существенное влияние на работу целого ряда практикующих историков, в частности Баттерфилда и Нэмира, которые положили глубокую враждебность к детерминизму (особенно в его материалистических вариациях) в основу своих исследований дипломатической истории и политических “структур”. Можно сказать, что ту же идеалистическую традицию продолжил и Морис Каулинг, который выделялся из общей массы своих кембриджских современников увлеченностью высо-

⁹⁴ Oakeshott M. *Experience and its Modes*. Cambridge, 1933. Pp. 128ff.

⁹⁵ Oakeshott M. *On History and Other Essays*. Oxford, 1983. P. 71.

⁹⁶ *Ibid.* P. 79. Курсив мой.

кой политикой и квазирелигиозной природой “общественной доктрины” XIX и XX веков⁹⁷. В менее явной форме следы идеалистического антидетерминизма можно найти и в трудах Джеффри Элтона⁹⁸.

Тем не менее обозначенная Оукшоттом теоретическая позиция была несовершенной. Разрушив детерминистическую модель каузальности, позаимствованную у естественных наук, Оукшотт фактически заменил ее другой, в равной степени неподатливой смирительной рубашкой. В его представлении историк должен был посвятить себя изложению значимых событий прошлого такими, *какими они кажутся* на основании сохранившихся источников. И все же процесс, в ходе которого историк отделяет значимые события от незначительных, или “случайных”, явным образом описан не был. Очевидно, что этот процесс должен быть субъективным. Историк наделяет смыслом те выжившие фрагменты прошлого, которые он находит в погоне за ответом на поставленный вопрос. Столь же очевидно, что при публикации его ответ должен быть в какой-то мере понятен остальным. Но кто выбирает изначальный вопрос? И кто решает, соотносится ли читательская интерпретация итогового текста с тем, что в него вложил автор? Более того, почему следует исключать гипотетические вопросы? Убедительных ответов на эти вопросы Оукшотт не дал.

Научная история – продолжение

Примечательно, что для многих английских историков, склонявшихся к идеализму, был характерен политический консерватизм. Как показали конфликты, бушевавшие на английских исторических факультетах в 1950-х и 1960-х гг., существовала достаточно тесная связь между антидетерминизмом в исторической философии и антисоциализмом в политике. К несчастью для идеализма, победу в этих столкновениях в итоге одержала другая сторона.

Дело в том, что вопреки ожиданиям детерминизм девятнадцатого века не был дискредитирован теми ужасами, которые свершились во имя него после 1917 г. Марксизму удалось сохранить репутацию в основном потому, что национал-социализм повсеместно считали его полной противоположностью, а не близкородственной идеологией, в которой место класса занимал народ. Послевоенное возрождение марксизма также многим обязано стремлению итальянских, французских и английских марксистов отмежеваться не только от Сталина, но и от Ленина – а со временем и от самого Маркса. Здесь нет нужды подробно разбирать всевозможные теоретические модификации, предложенные такими мыслителями, как Сартр и Альтюссер, основная цель которых заключалась в том, чтобы высвободить Маркса из запутанных нюансов истории и вернуть его в безопасность гегелевских высот. Не стоит также углубляться в родственные, но более применимые в исторической науке теории Грамши, который объяснял несоответствие поведения пролетариата предсказаниям Маркса гегемоническими блоками, ложным сознанием и синтезированным согласием⁹⁹. Достаточно сказать, что подобные идеи вдохнули новую жизнь в марксистский вариант детерминизма. Континентальные идеи медленно проникали в Англию, однако возрождение марксизма началось и здесь, вдохновленное в большей степени истинно английским чувством *noblesse oblige* – сентиментальностью элит по отношению к радикализму низших классов.

Пожалуй, самым неоригинальным из всех английских историков-социалистов был хроникер большевистского режима Э. Х. Карр. И все же его тезисы в защиту детерминизма оказа-

⁹⁷ См.: Bentley M. (Ed.). *Public and Private Doctrine: Essays in British History Presented to Maurice Cowling*. Cambridge, 1993, особенно ‘Prologue’, pp. 1–13.

⁹⁸ Elton G. R. *The Practice of History*. London, 1969. Особенно pp. 42, 57, 63–66.

⁹⁹ См. обзор в работе: Lears T. J. *The Concept of Cultural Hegemony: Problems and Possibilities* // *American Historical Review* 90 (1985). P. 567–593.

лись чрезвычайно весомыми – и, несомненно, останутся таковыми, пока кто-нибудь не напишет более удачную книгу со столь же притягательным названием, как его сочинение “Что такое история?”. Карр действительно пытался отмежеваться от строгого монокаузального детерминизма Гегеля и Маркса. Он утверждал, что сам является детерминистом лишь в том смысле, что верит, будто “все случившееся имеет причину или ряд причин и не могло произойти иначе, если бы не поменялся характер этой причины или причин”. Само собой, гибкость этого определения подразумевает принятие непредсказуемости хода событий:

На практике историки не считают события неизбежными, пока те не происходят. Они часто обсуждают альтернативные пути, доступные героям истории, допуская, что варианты были... В истории нет ничего неизбежного, за исключением единственного условия, которое гласит, что все могло сложиться иначе, только если бы иными были предшествующие причины.

В общем и целом это прекрасно. Однако Карр быстро добавляет, что задача историка заключается лишь в том, чтобы “объяснить, почему в итоге был выбран конкретный путь”, “объяснить, что случилось и почему”. “Проблема современной истории, – раздраженно замечает он, – заключается в том, что люди помнят время, когда все дороги были открыты, и затрудняются занять позицию историка, для которого они закрылись по принципу *fait accompli*”. Это не единственный случай, в котором Карр оказывается старомодным детерминистом. “Как нам найти в истории связанную последовательность причин и следствий, – спрашивает он, – как нам найти в истории хоть какой-то смысл, [если (как ему приходится признать)] случай в истории... играет какую-то роль?” Неприязненно кивая в сторону идеалистов (“определенных философских неясностей, углубляться в которые нет нужды”), Карр вслед за Оукшоттом решает, что нам следует выбирать причины в порядке их “исторической значимости”:

Из множества последовательностей причин и следствий [историк] выделяет те и только те, которые имеют историческую значимость; стандартом исторической значимости служит его способность вместить их в его картину рационального объяснения и толкования событий. Остальные последовательности причин и следствий следует отвергать как случайные не потому что для них характерен иной характер связи между причиной и следствием, а потому что сама последовательность не имеет значения. Историк не может ничего с ней поделать, она не поддается рациональному толкованию и не имеет значения ни для прошлого, ни для будущего.

Однако, в трактовке Карра, это просто становится новым вариантом гегелевского представления об истории как о рациональном – и телеологическом – процессе. “Суть работы историка заключается в том, – резюмирует он, – чтобы выводить на первый план те силы, которые одержали триумф, и отбрасывать на задний план все те, которые они поглотили”. Ибо “история, по сути, есть... развитие”. Можно легко проиллюстрировать эмоциональность этой позиции. В примечаниях ко второму изданию работы “Что такое история?” Карр *a priori* отверг “теорию, что вселенная появилась случайным образом в результате большого взрыва и обречена раствориться в черных дырах”, назвав ее “отражением культурного пессимизма эпохи”. Детерминист до мозга костей, он отрицал подразумеваемую “случайность” этой теории как “воцарение невежества”¹⁰⁰.

Подобным образом к детерминизму вернулся и Э. П. Томпсон. Как и у Карра, попытка Томпсона найти компромисс между строгом антитеоретическим эмпиризмом Поппера и строго неэмпирической теорией Альтюссера была мотивирована стремлением обрести смысл – жела-

¹⁰⁰ *Ibid.* Pp. 88, 95–106, 126, 132, 164.

нием “осознать... взаимосвязь социальных феноменов [и] каузальности”¹⁰¹. Подобно Карру (и даже Кристоферу Хиллу), Томпсон инстинктивно протестовал против самой концепции непредсказуемости. Он жаждал “понимания рациональности (причинно-следственной связи и т. д.) исторического процесса... объективного знания, выявляемого в диалоге с определенными свидетельствами”. Однако предложенная Томпсоном “историческая логика” – “диалог между концепцией и свидетельствами, диалог между последовательными гипотезами с одной стороны и эмпирическими изысканиями с другой” – была не лучше описанного Карром отбора “рациональных” причин. По сути, это был просто перелицованный Гегель.

В свете этого неудивительно, что Карр и Томпсон категорически отвергали возможность гипотетической аргументации. И все же даже британские марксисты не обошлись без гипотетического анализа. Размышляя о жертвах сталинизма, сам Карр не смог не задаться вопросом, стали ли они неизбежным следствием оригинального большевистского проекта или же Ленин не допустил бы такой тирании, “проживи он двадцатые и тридцатые годы в добром здравии”. В примечаниях ко второму изданию Карр даже заметил, что Ленин, проживи он дольше, сумел бы “минимизировать и смягчить элемент принуждения... При Ленине переходный период, возможно, не прошел бы совершенно гладко, но ничего подобного бы не случилось. Ленин не позволил бы фальсификации данных, к которой столь часто прибегал Сталин”¹⁰². Точно такой же аргумент лежит и в основе последнего тома величайшего, пожалуй, труда британских марксистов – написанной Эриком Хобсбаумом четырехтомной всемирной истории после 1789 г. “Эпоха крайностей” во многих отношениях вращается вокруг глубочайшего, хоть и не заданного открыто гипотетического вопроса: что, если бы не существовало сталинистского Советского Союза, успешно индустриализованного (и тиранизированного) для победы над Германией и “спасения” капитализма в ходе Второй мировой войны?¹⁰³ Можно по-разному относиться к ответам, которые Карр и Хобсбаум дают на эти вопросы, но поразительно, что, несмотря на свою идеологическую приверженность детерминизму, оба они в итоге почувствовали себя обязанными эти вопросы задать.

К несчастью, более молодое поколение марксистских историков редко совершало такие отступления от строго телеологической аргументации. Вдохновленные Грамши, они в основном изучали, как притесняется и подвергается манипуляции рабочий класс, а с распространением феминизма (в рамках которого гендер заменил класс из марксистской модели конфликта) стали интересоваться притеснением женщин. Пропагандируемая новыми левыми “история снизу” могла бы окончательно опровергнуть мнение Карра, что историю творят победители (хотя в некотором роде вчерашние проигравшие сознательно изучаются в качестве сегодняшних или завтрашних победителей). Однако она лишь сильнее вцепилась в детерминистскую модель исторического развития.

¹⁰¹ E. P. Thompson (Ed.). *The Poverty of Theory and Other Essays*. London, 1978. P. 227. См. также: Smith D. *The Rise of Historical Sociology*. Cambridge, 1991. Pp. 87f.

¹⁰² Carr E. H. *What Is History?* 2nd ed. London, 1987. Pp. 169f.

¹⁰³ Hobsbawm E. *The Age of Extremes*. London, 1994.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.